

Иван Ильин

ПУТЬ ДУХОВНОГО ОБНОВЛЕНИЯ



БИБЛИОТЕКА ПАЛОМНИКА

Библиотека паломника

Иван Ильин

Путь духовного обновления

ТД "Белый город"

2017

УДК 13
ББК 87.3

Ильин И. А.

Путь духовного обновления / И. А. Ильин — ТД "Белый город", 2017 — (Библиотека паломника)

ISBN 978-5-485-00567-2

Над книгой «Путь духовного обновления» Иван Александрович Ильин (1883–1954) работал в тридцатые годы. В этой работе он обосновывает свое понимание традиционных духовных ценностей общества: патриотизма, нравственного и духовного здоровья народа, национальной культуры, религии. В ней изложены философские, политические и этические взгляды Ильина. Средства духовного обновления — это вера, любовь, свобода, совесть, семья, родина, национализм, правосознание, государство, частная собственность. Каждому из них посвящена отдельная глава.

УДК 13
ББК 87.3

ISBN 978-5-485-00567-2

© Ильин И. А., 2017
© ТД "Белый город", 2017

Содержание

Предисловие	6
Глава первая	8
1	8
2	11
3	15
4	18
5	23
Глава вторая	27
1	27
2	33
3	36
Глава третья	39
1	39
2	43
Конец ознакомительного фрагмента.	47

Иван Александрович Ильин

Путь духовного обновления

© Издательство «ДАРЪ», 2017

© ООО ТД «Белый город», 2017

Предисловие

*Хоть убей следа не видно;
Сбились мы. Что делать нам!..*

Пушкин¹

Эта книга написана для идущих, для тех, кто еще не «имеет», но хочет «иметь», хочет – глубоко и искренно. Эта книга написана для сомневающихся; – не ироническим, разъедающим и, в сущности говоря, уже отрицающим сомнением, но вопрошающим, творческим сомнением, идущим из глубины сердца. Таким сомнением в свое время сомневались Сократ, Блаженный Августин и Декарт, и сомнение их нашло себе творческое преображение и привело их к *очевидности*.

Наше время ни в чем так не нуждается, как в *духовной очевидности*. Ибо «сбились мы» и «следа» нам не видно. Но след, ведущий к духовному обновлению и возрождению, найти необходимо и возможно. И мы найдем его.

Каким способом?

Естественным, который вообще дан человеку: *углублением в себя*. Не в свою личную, чисто субъективную жизнь, не в свои колеблющиеся, беспредметные «настроения», не в праздную, гложущую и разлагающую рефлексию. Но в свое *сверхличное, предметно-насыщенное, духовное достояние*. Пусть оно будет невелико, пусть оно будет подобно искре. Но в искре есть уже сила искренности, ибо искра есть пылинка вечного, божественного пламени...

Нельзя сомневаться «во всем», даже в самом сомнении своем. Это уже смерть и тление. Сомнение, если оно есть, – испытывается остро, оно подлинно, оно несомненно, оно есть *воля к истине, рожденная любовью и жаждою уверенности*. Кто так сомневается в Боге и в правде, тот уже *любит* Бога и правду; и любовью он их найдет, ибо их вообще можно найти *только любовью*. Такое сомнение – духовно, оно уже *есть живой дух*, и человеку, который *так сомневается*, духовный опыт уже открыт и доступен.

Итак, эта книга написана для сомневающихся, для тех, в ком живет *такое* сомнение. Она пытается указать им путь. Не пройти этот путь за них или с ними, а лишь указать. Идти человек может только сам, в своем внутреннем духовном опыте, который неизбежно приведет его к внешним поступкам; ибо настоящий и зрелый духовный опыт всегда выражается и заканчивается в целостных и творческих делах. Ни жить, ни творить «за других» нельзя. Жить и творить должен каждый *сам*. И это удастся ему тем больше и тем лучше, чем глубже он укоренится в своем *собственном*, выстраданном и вымоленном духовном опыте...

Эта книга пытается указать *только путь*. Она скромна по своим задачам. Она ни по одному вопросу не высказывает *всего*, что хотелось бы высказать; и каждая глава ее таит в себе целое исследование, иногда даже не одно; опытный и зоркий глаз увидит это сразу. Здесь изложено только то необходимое, путеводное, *без него нельзя начинать*, что прежде всего надо довести в себе до очевидности, до полной и окончательной, непоколебимой и не угасающей уверенности – только те основы духовности, без которых нельзя начинать самую борьбу за родину. Это первые, фундаментальные вопросы, *вопросы бытия*. Мало прочесть «о них», прочтя, надо *решить* их для себя. Они выдвинуты здесь в противовес и в отпор мировому соблазну нашего времени. Но решив их с силою очевидности, нельзя надеяться на свои силы при встрече с этим соблазном.

¹ А.С. Пушкин «Бесы» (Примеч. ред. Там, где не оговорено, примеч. автора).

Этот соблазн дан нам нашей эпохой. Но «человек не должен жаловаться на свое время: из этого ничего не выйдет; время плохое, ну что же, на то человек живет, чтобы сделать его лучше»...

«Начинай же! Только этим ты сделаешь невозможное возможным» (Карлейль²).

Современный мир переживает глубокий кризис— религиозный, духовный и национальный. Из него необходимо найти выход. Этот выход надо каждому из нас найти прежде всего *в самом себе*, творчески создать его, убедиться и удостовериться в его верности. И только потом можно будет указать его другим. Надо *самому начать быть по-новому*. Обновленные люди, одолевающие соблазн, найдут друг друга. Найдя, они заткут новую ткань духовного бытия. Это единственный путь. Иного нет.

Задача моей книги – указать на этот путь и утвердить его верность.

Автор
1932-1935

² Карлейль Томас (1795–1881) – английский публицист, историк, философ. См.: Карлейль Т. Теперь и прежде. – М., 1994. —С. 325. (*Примеч. ред.*).

Глава первая О вере

Прежде всего снимай с очей ума твоего покровы, содержащие его в ослеплении.

Феофан Затворник

1

Мы все верим

Есть у нас довольно распространенное воззрение, будто люди могут прожить жизнь без всякой веры и будто «образование», а в особенности «научное образование», – несовместимо с верою. Образованный человек, думают люди, не может верить: он слишком много «знает» и «самое существенное» он уже «понял»; так, например, он знает, что все совершается по законам природы и что эти законы природы рано или поздно будут изучены, во что же ему еще «верить»? Сущность культуры и прогресса сводится к следующему: *идет просвещение, а вера уступает и исчезает*. Согласно этому, верить могут лишь те, кого еще не коснулось просвещение; но вот придет время – они будут просвещены и перестанут верить, ибо на самом деле всякая *вера* есть не что иное, как суеверие. Итак: будущее принадлежит просвещенному безверию и безбожию.

Тот, кто хочет зорко и верно видеть происходящее и, особенно, понять и одолеть переживаемый нами духовный кризис, – должен прежде всего вдумчиво отнестись к этому воззрению и критически разобраться в нем; ибо он укрывает в себе не одно роковое недоразумение или заблуждение.

Бесспорно, есть немало людей, которые не верят *в Бога*. Но это совсем не значит, что они *ни во что* не верят и что поэтому их можно причислить к людям, живущим без всякой веры. Ведь возможно, что они верят не в Бога, а во что-то другое... Во что же? В нечто такое, что они принимают за главное и существенное в жизни, что действительно *для них* и есть *самое важное*, чем они дорожат и чему они служат, что составляет предмет их *желаний и стремлений*. Такое отношение и есть отношение веры; и кто имеет такой предмет, тот верит в него.

Этим мы вскрыли первое недоразумение, первый предрассудок: люди обычно думают, что «верить» это то же самое, что «признавать истину». На самом деле это не так: вера есть нечто гораздо большее, более творческое и более жизненное. Мы все считаем «истиною» – таблицу умножения, геометрические теоремы, химические формулы, географические данные, установленные исторические факты, законы логики; мы совершенно уверены в том, что они верны, что мы спокойно можем пользоваться этими истинами и применять их в жизни. Мы это и делаем, и притом уверенно и успешно: высчитываем, путешествуем, строим, наблюдаем природу, спорим, доказываем, составляем и принимаем лекарства и т. д. И что же? Все выходит, удается, подтверждается. То, что мы признали в теории за истину, оказывается и на практике правильным и верным. И мы все это знаем, и согласно этому мы в жизни и действуем. Но *о вере* здесь нет еще и речи...

«Верить» – это гораздо больше, чем «признавать за истину». И так обстоит и в теории, и на практике. Есть холодные истины, к которым мы и относимся холодно; мы устанавливаем их и пользуемся ими равнодушно или, самое большее, с некоторым «уважительным» «интересом». Мы узнаем о них и признаем их, не воспринимая их глубиной нашей души; мы

подтверждаем их и соглашаемся «опираться» на них теоретически и практически, отнюдь не отзываясь на них сердцем. Они дают нам известную уверенность, но только во второстепенных делах, *не* в главных и важнейших вопросах нашей жизни. Они светят нам наподобие уличных фонарей, без которых нам было бы и неудобно, и уютно, но душу нашу они не согревают и не воспаляют. Тысячу раз мы пройдем мимо них, или примем их во внимание, или даже воспользуемся ими без того, чтобы *могучие и творческие источники* нашей души пришли в движение; напротив – там все остается безразличным, молчаливым и неотзывчивым. Кто из нас начнет «верить» – в классификацию химических элементов, открытую Менделеевым, в таблицу логарифмов, в хронологический обзор событий XIX века, в горную карту Европы или Азии? И даже тот из нас, кто усомнится в этих «законах» или «истинах» и начнет критиковать их или опровергать – поколеблется не в *вере*, а только в *познавательной уверенности*.

О вере позволительно говорить только там, где истина воспринимается глубиной нашей души, где на нее отзываются могучие и творческие источники нашего духа, где говорит сердце, а на его голос отзывается и остальное существо человека, где снимается печать именно с этого *водного ключа* нашей души, так что воды его приходят в движение и текут в жизнь.

Человек верит в то, что он воспринимает и ощущает как *самое главное* в своей жизни. Скажи мне, что для тебя самое важное в жизни, и я скажу, во что ты веришь. Душа твоя прилепляется к тому, во что ты веришь, как бы живет и дышит им; ты *желаешь* предмета своей веры, ты ищешь его; он становится источником твоей *радости* и остается им даже тогда, когда тебе его не хватает. Здесь пребывают твои чувства и твое воображение. Словом, здесь *реальный центр* твоей жизни: тут твоя любовь, твое служение, тут ты идешь на жертвы. Здесь твое сокровище; а где сокровище твое, там и сердце твое; – там и *вера* твоя.

И вот, сколько бы мы ни искали, мы не найдем такого человека, который *ни во что* не верил бы. Чем глубже заглянем мы в человеческую душу, тем скорее мы убедимся, что человек без веры вообще не может жить; ибо вера есть не что иное, как *главное и ведущее тяготение человека, определяющее его жизнь, его воззрения, его стремления и поступки*.

Правда, не всегда легко установить, к чему прилепляется и тянется тот или другой человек... Иными словами: где бодрствует его душа? где она загорается? что для нее выше всего? в чем сокровище его жизни? где он способен жертвовать? Может быть и так, что он и сам этого не знает; или еще так, что, по-видимому, он в течение всей своей жизни «ни во что не верит»: явно относится ко всему безразлично, оставался тепло-прохладным; он как бы прозябал всю свою жизнь, не имея никакого реального центра, ни от чего не зажигался; нигде душа его не вела интенсивной жизни, не было у него сокровища, ничему он не служил и не жертвовал. Однако жизненные наблюдения заставляют нас установить, что такие люди, такие безразличные, «проблематические» натуры, являются обычно людьми с *дремлющею верою*. Пока над водами жизни царит безветрие, кажется, что их душа пребывает в тихой дремоте: мертвенно повисли паруса, малые волны повседневной жизни катятся мимо них без цели и смысла, ни воли, ни свершений, ни судьбы. Но *жизненная буря* может изменить всю эту картину. Потрясенная, возмущенная, может быть, раненая, душа пробуждается ото сна, собирается с силами, отличает главное от не главного, приемлет важнейшее и священное, совершает свой выбор, решение следует за решением, поступок за поступком – и жизненный корабль, руководимый верою, плывет на всех парусах. И если присмотреться к человеку в такой жизненный час, то всегда обнаружится, что процесс внутреннего отбора и оформления совершался уже давно – но в глубине, сокрытой от глаз, и как бы в некоторой медлительности. Где-то там, в таинственной тишине, уже возникла «твердь среди воды» и «свет» уже отделялся от «тьмы»... Но вот настал час страдания и воззвал голос великой беды; и что же? – все сложилось и созрело в кратчайшее время так, как если бы оно только

и ожидало этого часа и этого голоса. Можно было бы сказать: знамя уже развевалось – но мрак царил, и его не было видно; и исповедание уже сложилось – но пребывало в безмолвии; и выбор был уже совершен, и путь был предначертан – и оставалось только пойти поэтому пути...

Жить на свете – значит *выбирать и стремиться*; кто выбирает и стремится, тот *служит* некоторой *ценности*, в которую он верит. Все люди верят: и образованные и необразованные, и умные и глупые, и сильные и слабые. Одни сознают, что они верят, другие верят, не сознавая этого. Одни знают и то, что они *верят*, и то, *во что* они верят, а может быть, и то, *на каком основании* они верят. Другие верят просто, не зная этого за собою и, может быть, ни разу в жизни не подумав, во что же это они, собственно говоря, верят и есть ли у них какие-нибудь *основания* для этой веры. Но вера всегда остается *первичной силой человеческой жизни* – совершенно независимо от того, понимают люди это или нет. Человеку дана возможность дорожить своей верой, беречь ее, укреплять, очищать и углублять, как бы строить ее и воздвигать на ее основе свое мирозерцание и свой характер, формировать ее содержание в виде догмата и символа веры, создавать на этом фундаменте церковь и богослужение, превращать ее во всеохватывающую целокупность жизни и смерти. Однако человек имеет и другую возможность: пренебрегать своею верою, оставлять ее на произвол случайностей, пронизывать ее предрассудками и суевериями, превращать ее в слепой и разрушительный фанатизм или же отводить ей один уголок своей души, и притом самый трусливый и лицемерный. Человек может заблуждаться в своей вере и идти по ложным путям; он может разочаровываться в своей прежней вере и отходить от нее; хуже того, он может изменять своей вере по расчету и «продавать» ее. Но в одном человеку отказано, одного он не может: именно – *жить без веры*.

2

Вера и жизнь

Кто однажды поймет и продумает это, тот перестанет делить людей – на живущих «с верой» и живущих «без веры», или, во всяком случае, тот перестанет придавать этому условному и неточному делению прежнее значение; и благодаря этому он избавится от многих мнимых проблем, от целого ряда бесполезных парадоксов. Напротив, он поставит новый и чрезвычайно поучительный вопрос: во что же, собственно говоря, верят так называемые «неверы»? И если он сам причислял себя доселе к «неверам», к «безрелигиозным» или «безбожникам» – то во что же он сам при этом *все-таки верил!* Потому что оказывается, что он сам все-таки во что-то верил; это уже установлено. Верят все: и тепло-прохладный «свободомыслящий», и воинствующий безбожник, и ожесточенный материалист; верят и социалисты, и коммунисты, и гонители христианства... И чем решительнее эти «враги веры» нападают, чем ожесточеннее их преследование и воздвигаемые ими гонения, тем яснее они обнаруживают, что у них есть в виду нечто такое, что они считают «главнейшим» и «важнейшим»; они воображают, будто владеют какой-то важнейшей и драгоценнейшей истиной, к которой они прилепились душой и волей. Они считают себя «неверами»? Они объявляют себя «безбожниками»? Пусть. Этим они хотят только подчеркнуть, что они не принадлежат ни к какому определенному исповеданию, кроме... собственного, разделяемого ими самими, что они не входят ни в какую церковную общину, кроме... своей собственной общины, которую они не хотят называть «церковью» (обозначая ее как «партию», или как «орден», или как «международное общество»).... Да, они не верят в Бога; но это означает, что они *верят не в Бога, а во что-то иное*. Они критикуют или поносят веру вообще... Этим они как настоящие *фанатики своей веры* объявляют, что они признают только *свою веру обоснованной*, единственно верной и единственно допустимой; все же остальные веры и исповедания они относят к «глупым предрассудкам» или «вредным суевериям». Они воображают, будто они одни владеют тем спасительным словом, той непогрешимой правдой, которая освобождает и оплодотворяет благие, творческие силы человека, будто им одним известно то начало, тот принцип, который верно отличает «главное» от «неглавного», «доброе» от «злого», который указывает человеку *верную цель* его жизни и *верный путь*, ведущий к этой цели. Они – верят, и воображают, будто обладают истиной и единственно верной верой. И тот, кто читал писания воинствующих безбожников и присматривался к их разрушительной работе, тот не может не согласиться, что эта характеристика соответствует действительности.

Но во что же верят те люди, которые верят *не в Бога* и потому считают себя «неверами» вообще, или «безбожниками»? Они верят во всевозможные небожественные силы и обстоятельства.

Большинство верит, по-видимому, в *наслаждения* или особенно в *чувственные наслаждения*, во все, что к ним ведет и с ними связано; это для них – важнейшее в жизни; это их цель, это их путь; этому они служат, ради этого они жертвуют всем остальным; здесь у них критерий, по которому они отличают «хорошее» от «дурного»; здесь их «сокровище» и их сердце. Есть такие люди, которые признают и выговаривают это открыто: «я хочу земного счастья, наслаждения и спокойствия – ибо это главное в жизни» (гедонизм), «я ищу в жизни денег и власти» (маммонизм), «главное в том, чтобы все люди несли одинаковую работу и имели одинаковые права, ибо только тогда они смогут одинаково наслаждаться жизнью, быть равно счастливыми» (социализм), «все дело в том, чтобы дерзновенно завладеть земными благами и безоглядно наслаждаться ими» (большевизм), «главное в том, чтобы дать массам земные блага и удобства, а для этого надо у всех все отнять (всеобщая пролетариза-

ция) и всех подчинить монополюному работодателю (всеобщее хозяйственное и политическое порабощение, коммунизм)» и т. д.

Однако наряду с этими течениями есть немало таких людей, которые не выговаривают вслух своей веры и не признаются, в чем же она собственно состоит: одни из них просто избегают касаться этих вопросов, другие скромно ссылаются на свою внутреннюю неуверенность, третьи выдвигают теорию, в силу которой человек вообще не может иметь никакого «достоверного знания» (агностицизм), иные ссылаются на свое неотъемлемое право – оставаться «безразличными» и на свою обязанность – относиться терпимо ко всякому чужому верованию, иные же отступают в сферу проблематического «свободомыслия»... В известном смысле они правы: верить можно только искренно и свободно, а свобода требует веротерпимости, нельзя принудить человека к той или иной вере и никто не обязан рассказывать другим людям вслух, во что именно и как именно он верит... Но видимое «безразличие» и явное умолчание, действительная скромность и насмешливая мистификация – *не освобождают человека от неизбежности верить*. Нельзя человеку не иметь определенной жизненной цели и жизненной ценности, в которые он верит и которым он служит. Однако психологически можно понять, что есть люди, у которых эта «высшая» и «главная» жизненная ценность такова, что для них выгоднее умалчивать о ней и замалчивать ее до конца. Ведь молчание создает некий загадочный мрак, в котором многое неразлично и многое может остаться сокровенным... И не всегда бывает легко установить, кто молчит от настоящей религиозной скромности, а кто из умного или хитрого житейского расчета...

Если бы удалось однажды пронизать все человеческие сердца без исключения таинственным лучом света так, чтобы у всех выступила и въяве обнаружилась *главная ценность жизни, составляющая предмет веры*, то очень возможно, что все мы просто ужаснулись бы... Потому что, вероятно, оказалось бы, что большинство людей верит в нечто такое, что не только не обещает им ни блага, ни спасения, но что прямо ведет их к гибели. Люди живут и верят очень часто в слепоте и беспомощности и не знают и не догадываются о том, что человеку надлежит *строить свою веру*, а не предоставлять ей расти наподобие полевой травы; и вследствие этого люди очень часто верят, т. е. прилепляются не только своим «правдоподобным» мнением, а сердцем, волею и делами, служением и жертвенностью к таким жизненным содержаниям, служить которым и идти на жертвы ради которых поистине *нет никакого смысла*...

Вот ключ к современному духовному кризису, охватывающему все человечество. И овладев этим ключом и поняв, что происходит в мире, мы не можем не подивиться тому, что современному человечеству, в общем и целом, живется все еще *так* хорошо и *слишком* хорошо по сравнению с теми бедами и страданиями, которые могут возникнуть из этого кризиса.

Есть некий духовный закон, владеющий человеческой жизнью; согласно этому закону, *человек сам постепенно уподобляется тому, во что он верит*. Чем сильнее и цельнее его вера, тем явственнее и убедительнее обнаруживается этот закон. Это нетрудно понять: душа человека пленяется тем, во что она верит, и оказывается в плену; это содержание начинает господствовать в душе человека, как бы поглощает ее силы и заполняет ее объем. Веря во что-нибудь, человек постоянно ищет этот предмет, предпочитает его, занимается им и явно и втайне; человек воображает себе этот предмет, вступает с ним в самые прочные отношения, желает его; этот предмет как бы занимает и поглощает его внимание, его сосредоточенность, его душевные силы. Это можно было бы выразить так: человек постоянно (то сознательно, то бессознательно) *медитирует*³ *о том предмете, в который он верит*. *Вследствие этого душа вживается в этот предмет, а самый предмет, в который она верит, проникает в*

³ Т. е. сосредоточенно помышляет о нем всеми своими душевными силами.

душу до самой его глубины. Возникает некое подлинное и живое *тождество*: душа и предмет вступают в особое единение, образуют *новое живое единство*. И тогда мы видим, как в глазах у человека сияет и сверкает предмет его веры; то, во что ты веришь, сжимает трепетом твое сердце, напрягает в минуту поступка твои мускулы, направляет твои шаги, прорывается в словах и осуществляется в поступках...

Так обстоит всегда. Если человек верит только в чувственные наслаждения, принимая *их* за главнейшее в жизни, *их* любя, *им* служа и предаваясь, – то он сам превращается постепенно в чувственное существо, в искателя земных удовольствий, в наслаждающееся животное; и это будет выражаться в его лице и в его походке, смотреть из его глаз и управлять его поступками. Если человек верит в деньги и власть, то душа его постепенно высохнет в голодной жадности, в холодной жажде власти; и опытный наблюдатель прочтет все это в его взоре, услышит в его речи и не ошибется, ожидая от него соответствующих поступков. Если он поверит в классовую борьбу и завистливое равенство, то он сам скоро станет профессиональным завистником и ненавистником, и в глазах его отразится черствая злоба, а в поступках – политическое ожесточение и т. д.

Однако тот же самый закон обнаруживается и на благих путях, но с тем различием, что человек будет не «верить», а «веровать», и это придаст его вере особую силу и глубину.

Замечательно, что русский язык придает идее «веры» два различных значения: одно связывает *веру* с потребностью *верить*, а другое – со способностью *веровать*.

Верят – все люди, сознательно или бессознательно, злобно или добродушно, сильно или слабо. *Веруют* же – далеко не все: ибо *верование* предполагает в человеке способность прилепиться душой (сердцем, и волею, и делами) к тому, что действительно заслуживает веры, что дается людям в духовном опыте, что открывает им некий «путь ко спасению»⁴. В карты, в сны, в гадание, в астрологические гороскопы— *верят*, но в Бога и во все божественное – *веруют*⁵. В суеверия «верят» – *верят от страха и боятся от своей веры; и чем больше боятся, тем сильнее верят, и обратно. Но в то, что подлинно есть (что не «всуе», не напрасно), – «веруют», и от этой верующей веры получают спокойствие и перестают бояться. «Верящие» люди чаще всего не имеют единого и общего им всем духовного предмета, и потому их вера *разъединяет* их, не создавая ни религии, ни церкви. Но «верующие» люди имеют единый и общий им всем духовный Предмет; они вступают в творческое единение с Ним, а через это объединяются между собою; слагается религия и Церковь.*

Важно отметить, что оба эти оттенка, передаваемые глагольной формой, сливаются и как бы исчезают в существительном «вера». Вера живет и в том, кто «верит», и в том, кто «верует». Она выражает у обоих склонность души видеть в чем-то жизненно-главное и руководящее и прилепиться к нему своим доверием и преклонением. Но эта приверженность души поднимает человека на настоящую высоту только тогда, когда она находит себе высший и достойный предмет⁶.

И вот, если закон «*отождествления через веру*» обнаруживается уже на низших ступенях жизни и веры, то настоящей силы и полноты он достигает именно у верующих людей.

Если человек верует в Бога или хотя бы в божественное начало, проявляющееся в земных явлениях и обстоятельствах, – то божественные содержания становятся для него жизненным центром и в созерцаниях, и в поступках, чем-то важнейшим и главнейшим, любимым, искомым, желанным и уже в силу одного этого – всегда присутствующим в душе обстоянием. *Узреть* с очевидностью лучшее и не восхотеть его, и не *осуществить* его – почти невоз-

⁴ См. замечательный труд Феофана Затворника, так именно и озаглавленный.

⁵ Терминология допускает такое словоупотребление: «верить» можно и в высшее – «я верю в Бога», «я не верю в бессмертие души»; но в низшее «веровать» нельзя. Нельзя сказать: «я верую в карты» или «я верую в дурные приметы»... Подобно этому: в сильного человека, в вождя «верят», а не «веруют».

⁶ Это различие между «верящим» и «верующим» человеком мы и будем соблюдать в дальнейшем изложении.

можно для человека; но также невозможно для него *осуществить* это лучшее и не *стать* самому лучшим, чем был раньше. Веровать в Бога значит стремиться к созерцанию Его, молитвенно «медитировать» о Нем, стремиться к осуществлению Его роли и Его закона; от этого возрастает и усиливается божественный огонь в самом человеке, он очищает его душу и насыщает его поступки. На высших ступенях такой жизни возникает то живое и таинственное единение между человеком и Богом, о котором так вдохновенно и ясновидчески писал Макарий Великий, характеризуя его как внутреннее «срастание» или «растворение» (по-гречески «κράδισ»), от которого душа становится «вся светом, вся – оком, вся – радостью, вся – упоением, вся – любовью, вся – милосердием, вся благодатью и добротою»⁷... Естественно, что от такого перерождения души изменяется и внешний вид человека, о чем он сам может и не знать, но что другим людям бывает трудно не заметить⁸.

Отшельник, проводящий свою жизнь в «богомолении» и «богоделании» («Θεωτο ί ησις», по выражению Макария Великого), приобретает некую подлинную богоозаренность в душе и в ее телесном обнаружении. Подобно этому – душа истинного художника становится гармонической, поющей, мернозданной, утонченно созерцательной; и самое лицо его может стать ликом. Так, горящее сердце патриота укореняется в духе, силе и славе его родины. А тот, кто занимается черной магией и медитирует о сатане, незаметно становится сам, и по лицу и по голосу, дьяволообразным...

Кто во что верует, тот тем и живет, и обратно: скажи мне, чем ты живешь как самым важным для тебя, и я скажу тебе, во что ты веришь или веруешь. Ибо человек есть не что иное, как живая целокупность того, чем он живет и что он осуществляет, и притом именно потому, что он *это любит и в это верит*. Вот почему: *по плодам их, узнаете их*(Мф.7,16 и 20).

⁷ Ср. у ап. Павла: А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом (1 Кор. 6, 17).

⁸ Ср. Библию. Исх. 34, 29–30: сходя с горы Синая, «Моисей не знал, что лицо его стало сиять лучами от того, что Бог говорил с ним. И увидел Моисея Аарон и все сыны Израилевы, и вот, лице его сияет, и боялись подойти к нему».

3

Не все заслуживает веры

Так выясняется живая сила веры – и благой и дурной, и мудрой и неразумной, и парящей и пресмыкающейся. Как только слагается вера во что-нибудь определенное, слагается и захватывает душу, она оказывается *первичной, ведущей силой человеческой жизни*. Напрасно было бы принимать «твердое решение» – ни во что не верить. Это могло бы привести только к самообману, ибо человек все-таки будет верить и только напрасно внушать себе, что он «решительно» ни во что не верит; или же он будет условно понимать веру как веру в Божественное, запрещать себе именно эту благу, мудрую и парящую веру, подрывать и уродовать ее в себе и уже силою этого прилепиться душою к чему-нибудь богопротивному, дурному и гибельному.

Поистине это небезразлично, во что люди верят; и во многое, во что люди верят, – не стоит верить, ибо от этого не будет ничего, кроме вреда и гибели. Вера указывает человеку его *жизненный путь*; она определяет его *отношение к себе, к людям, к природе* и ко всему *священному* в жизни человека. И потому совсем не безразлично, верит ли человек в прошлое, разъединяющее, уродливое и погрязает вследствие этого в животности и злобе, или он верует в духовно-значительное, соединяющее и прекрасное и вследствие этого парит наподобие ангела в благом и мудром служении. Вот почему надо признать, что решительно не все заслуживает веры.

Но что же именно заслуживает ее? Во что стоит верить? Есть ли здесь какой-нибудь верный и убедительный критерий?

Вот ответ. *Жить стоит только тем и верить стоит в то, за что стоит бороться и умереть*; ибо *смерть* есть истинный и высший критерий для всех жизненных содержаний. Достаточно самому применить этот критерий со всей надлежащей серьезностью и во всем его глубоком значении и осветить им любое жизненное содержание – и его верность и убедительность раскроется перед очами.

Смерть ставит перед нами вопрос о самом главном, об основах нашего земного существования, о личной жизни в ее целом. Смерть есть та сила, которая обрывает поток повседневных обстоятельств и впечатлений и выводит человека из него; она ставит нас перед основным вопросом: «Ради чего ты живешь? Во что веришь? Чему ты служишь? В чем смысл твоей жизни? Верен ли твой выбор, или ты до сих пор даже и не удосужился выбрать что-нибудь? Стоит ли жить тем, чем ты живешь, и верить в то, во что ты веришь? Если стоит, то за это стоит бороться и умереть! Ибо *то, что не стоит смерти, то не стоит ни жизни, ни веры...*»

Это обнаруживается и подтверждается даже в самых простых, житейски повседневных условиях: кто живет для собственного удовольствия или личного наслаждения и ни во что другое не верит – тот видит во всем (в вещах, в богатстве, в людях, в своем государстве) лишь средство или орудие и ни с чем не связывает себя безусловной связью, на жизнь и на смерть; ему не за что бороться до конца, ему нет смысла рисковать в этой борьбе своей жизнью; и потому при появлении смертельной опасности он будет думать только о себе и о спасении своей жизни любой ценой. Он все побросает и от всего отречется, соображая, что если он сохранит жизнь, то он сохранит и возможность новых наслаждений в будущем, а если он утратит жизнь, то он утратит и все возможные земные наслаждения. И, став неожиданно для самого себя дезертиром своего жизненного пути, он, может быть, впервые спросит себя: «Да стоило ли мне жить тем, чем я жил доселе, если я так легко отрекся от этого без борьбы? Не служил ли я каким-то кумирам, которым не стоило и служить?»

Так обстоит со всеми людьми, которые не видят в жизни ничего, кроме земного, чувственного, и не имеют в виду главного, всеобщего и духовного: как только перед ними встает вопрос о главном и личная смерть оказывается у порога, они бросают все и спасают свою жизнь; им нет смысла бороться за какую бы то ни было земную единичность, ибо личная жизнь кажется им дороже всякого отдельного (да еще земного и чувственного) жизненного содержания. Но если они начинают борьбу и ведут ее на смерть, говоря: «Лучше совсем не жить, чем потерять дом, семью или свободу», – то это означает, что с этими благами у них был связан некоторый высший смысл и священное значение и что здесь у них дело не сводилось к личным наслаждениям. Можно понять, что человек отдает свою жизнь в борьбе за свое право, за свободу, за веру, за родину, за храмы, за свой народ, но отдать ее за личные удовольствия – просто *не стоит*.

Это мы видим всюду, где у людей сохранилось хотя бы немножко чутья для высшего смысла жизни и для истинного значения веры: там они воспринимают смертельную опасность, откуда бы она ни надвигалась, – будь это болезнь, или война, или землетрясение, или политический террор, или какая бы то ни была иная катастрофа – как призыв, как пробуждение, как потребность одуматься или даже как начало глубокого жизненного обновления. И только там, где это чутье для высшего смысла жизни и для истинного значения веры совсем иссякло и отлетело, где душа впала в совершенную религиозную слепоту и бесплодность, – только там человек может перед лицом какой-нибудь опасности или неудачи проклясть самую жизнь свою и от случившегося с ним несчастья искать спасения в смерти. Такие люди живут всю свою жизнь так, как если бы для них были только две возможности: *наслаждение* или *смерть*. Наслаждение определяет и исчерпывает смысл их жизни и содержание их веры; но именно поэтому смерть их остается столь же бессмысленной, сколь бессмысленна была и вся их жизнь.

Скажи мне, за что ты хотел бы отдать свою жизнь, а я скажу тебе, во что ты веришь. Ибо вера ставит каждого из нас перед высшей ценностью жизни, перед последним вопросом бытия, перед нашим существованием в целом: *когда смерть вопрошает душу, то душа отвечает верою*. Верующему свойственно крепко держаться за свою веру – и в жизни, и перед лицом смерти; но именно перед лицом смерти ему неизбежно спросить самого себя: да стоило ли, в самом деле, жить тем, чем я жил до сих пор? Верна ли и крепка ли была моя вера?

Вот почему каждый из нас должен спросить себя: стоит ли отдавать жизнь за то, во что я верю? Имеет ли смысл умирать за это? Послужит ли моя смерть некоторому высшему и общему делу, которое не кончится с моей жизнью, но переживет меня, которое осмыслит мою жизнь и освятит мою смерть, которое вознесет меня выше меня самого и вплетет мои силы и мое служение в божественную ткань мироздания? Если да, то я верю во что-то *истинно священное*, во что стоит веровать, за что стоит бороться и умереть. Если нет, то я, вероятно, заблуждаюсь в моей вере и верю в нечто нестоящее; и тогда мне необходимо пересмотреть всю мою веру и всю мою жизнь до самой глубины и обновить их так, чтобы вера моя стоила борьбы на смерть, а жизнь приобрела бы смысл, не исчерпывающийся смертью.

И еще каждый из нас должен спросить себя: способен ли я, готов ли я умереть за то, во что я верю? Если *да*, то моя вера сильна, глубока и действенна. А если *нет*, то сила моей веры невелика, и, может быть, она невелика именно потому, что прилепилась к нестоящему. Ибо поистине – огонь веры усиливается от прикосновения к подлинно священному и становится необоримым пламенем от единения с подлинно божественным; этот огонь истинной веры, хотя и живет в личной душе человека, но источником своим имеет не только ее одну...

Все то, что мы высказали, можно было объяснить так. Человек не может жить без веры, но он может иметь веру слабую, ибо далеко не всякое жизненное содержание заслуживает веры. Слепо и неумно прилепляться к чисто земным обстоятельствам, т. е. к чувственно-еди-

ничным вещам как таковым, превращать их в настоящий центр своей жизни, принимать их как свое любимое и главное, поклоняться им как высшей ценности, видеть в них высшую цель жизни, служить им и жертвовать ради них всем остальным. Из этого могут возникнуть только внутренние противоречия, измена и бессмыслица. Такая вера унижает самого верующего, ибо она превращает его самого в случайного слугу случайностей, во что-то несущественное, как бы в существо двух измерений (ибо остаются два измерения: *тело и душа*, слепые для духа и оторвавшиеся от него). Такая вера подрывает свою собственную силу и свой собственный смысл, она с самого начала дышит неверностью и предательством и испаряется при первом дыхании смерти. Конечно, человеку предоставлено верить во все, что ему угодно: и в нелепость, и во вредоносное, и в погибельное; и вследствие этого нетрудно найти людей, которые в действительности верят в подобные вещи – в суеверные приметы (нелепое), в целебное искусство шарлатанов (вредоносное), в культивирование темных сатанинских сил души (погибельное). Но человеку не дана возможность создать из нелепости или из любого порока – *религию и церковь*. Религия и церковь возможны только при наличии совсем особых условий, а именно: *глубокого и искреннего чувства и сильной творческой веры*, а это дается только *жизненно здоровому духу*, и далее, необходимо такое содержание веры и такой *уровень* ее, которые были бы свободны от *душеразрушительного влияния*, от духовных ценностей и от начатков внутреннего предательства.

Однако во всех случаях и на всех путях жизни *человек живет и умирает или влача земные оковы своей веры, или несомый ее духовными крыльями...*

4

Знание и вера

В наши дни есть еще один предрассудок в отношении к вере, согласно которому «знание» есть нечто достоверное, доказательное, истинное, а «вера» есть в конечном счете не более чем «суеверие» (т. е. вера всуе, напрасная и неосновательная). Доказанное и обоснованное не приемлется на веру: оно познается и знается, оно мыслится. Верить же можно лишь в то, что не обосновывается и что поэтому *не основательно*, в то, что не доказывается и потому не имеет за себя *ничего достоверного*. Поэтому здесь только и можно «верить» или «веровать».

С этой точки зрения многие из наших современников говорят почтительно или даже с пафосом о мысли, знании и науке и с презрением или, по крайней мере, со снисхождением о вере и верующих людях. Кто расположен к снисхождению и терпимости, тот осуждает веру и верующих не так строго: надо уж предоставить «глупым» и «необразованным» верить в их «фантазии», что же с ними поделаешь, особенно если фантазии «приличны» и «гуманны». Но кто «серьезно» относится к знанию и доказательству и помнит о вреде предрассудков и об опасности суеверий, тот уже не обнаруживает ни снисхождения, ни терпимости; он уже категорически требует «просвещения» и «борьбы с обскурантизмом». Но если всякая вера есть, в сущности говоря, «суеверие», а насаждают суеверие именно упорные и зловредные обскуранты, с которыми необходимо бороться, то приговор над *христианством* во всех его исповеданиях оказывается уже произнесенным...

Ясно, что в этом предрассудке при последовательном и волевом отношении к нему уже заложено *гонение на христианство*.

За этим предрассудком скрывается на самом деле целое гнездо недоразумений и ошибок. С одной стороны, это воззрение безмерно переоценивает мысль и знание и придает так называемым «доказательствам» преувеличенное значение, ибо на самом деле многое, что люди причисляют к «мыслимому» и «знаемому», – остается необоснованным и не доказанным. С другой стороны, вера и суеверие совсем не одно и то же, в области веры имеется *своя особая достоверность* и свои полноценные основания, не замечать их или отвертываться от них можно только по недостатку духовного опыта.

Так, прежде всего, было бы совсем наивно думать, что человеческое «мышление» и «знание» не делает ошибок или что оно способно доказать каждое свое утверждение. Вся картина мироздания в том виде, как его очерчивает наука, покоится на очень спорных и часто неясных гипотезах, которые иногда отчасти «подтверждаются» новыми наблюдениями, а иногда опровергаются и тогда отвергаются. Эти гипотезы полезны, необходимы и драгоценны, без них исследование мира не могло бы совершаться и наука стала бы невозможной. Но они совсем не суть «доказанные истины», даже и те из них, которые *доселе* подтверждались при наблюдениях. Чем дальше человек стоит от научной лаборатории, тем более он иногда бывает склонен преувеличивать достоверность научных предположения и объяснений. *Полуобразованные люди* слишком часто *верят* в «науку» так, как если бы ей было все доступно и ясно; чем проще, чем элементарнее, чем проще какое-нибудь утверждение, тем оно кажется им «убедительнее» и «окончательнее»; и только настоящие ученые знают границы своего знания и понимают, что *истина* есть их *трудное задание* и *идалекая цель*, а совсем не легкая, ежедневная добыча.

Настоящий ученый прекрасно понимает, что «научная» картина мироздания *все время* *меняется*, все усложняясь, углубляясь, уходя в детали и никогда не давая ни полной ясности, ни единства. Достаточно вспомнить, как изменилась вся картина мира после того, как астрономическая система Птолемея была вытеснена системой Коперника, или – что дало науке

и народам открытие электричества, или радия, или беспроводной передачи, или раскопки доисторических городищ, или спектральный анализ. Настоящий ученый знает, что наука никогда не будет в состоянии объяснить свои последние предпосылки или определить свои основные понятия, например, точно установить, что такое «атом», «электрон», «витамин», «энергия» или «психологическая функция»; он знает, что все его «определения», «объяснения» и «теории» – суть только несовершенные попытки приблизиться к *живой тайне* материального и душевного мира. О продуктивности науки не стоит спорить: за нее свидетельствуют вся современная техника и медицина. Но что касается ее теоретических истин и их доказуемости, то наука плавает по морям проблематического и таинственного.

Здесь проходит грань между ученым и полуобразованным.

Настоящий ученый знает, доколе простирается его знание, и потому он духовно скромн. Он ищет и пытается доказывать, он всегда добивается *максимальной* достоверности и доказательности, ясности и точности, но именно поэтому он знает, сколь трудно это дается, и всегда помнит, что полной достоверности у науки нет. Он всегда помнит, сколь ограничен *объем* того, что «уже познано», и сколь сравнительно невелика сила и компетентность научной мысли, ибо поистине мысль есть только *одна из способностей человека*, наряду с другими, а научная мысль нуждается в *опыте*, для которого необходимо чувственно воспринимать, ощущать, чувствовать, желать, воображать, созерцать и совершать поступки. Настоящий ученый понимает все это и не переоценивает ни отвлеченную мысль, ни науку в целом. Вот почему он не верит в отвлеченные схемы и мертвые формулы и хранит в себе живое ощущение глубокого, таинственного и священного. Этим и объясняется то обстоятельство, что среди настоящих и великих ученых многие питали и питают живую веру в Бога: их взор не ослеплялся тем, что уже познано и добыто, но оставался прикованным к тайнам мироздания и к скрытым в них богатствам, а созерцание этих тайн пробуждало в них тот внутренний, духовный опыт, от которого рождается религиозное настроение и «верующая» вера. Так, истинная ученость не уводит от Бога, а ведет к Нему.

Совсем иное дело полуобразованность. Такой человек не умеет исследовать и познавать, он умеет только «понимать» то, что просто и плоско, и – помнить. Он живет заученными формулами, от которых в голове все становится плоско и просто, он принимает это за «ясность» и поэтому воображает, будто все ему ясно и будто он призван все «объяснять» другим. Вот откуда у полуобразованных людей эта безмерная притязательность и безответственность: добыв без труда свою плоскую ясность, не научившись в труде познания – ни ответственности, ни скромности, они смотрят не вверх, а вниз, не вглубь, а в отвлеченную пустоту, где все легко, легкомысленно и беспочвенно. Они не создают сами ничего, но заимствуют все у других, перенимая, подражая, подхватывая и повторяя. Есть немало людей, у которых и самое чтение книг получает такое же значение: по слову одного наблюдательного ученого, «они и читают-то только для того, чтобы иметь право не думать самостоятельно»... Нередко они выбирают себе какого-нибудь одного человека, который становится их «авторитетом», «учителем» и «вождем». Тогда они начинают верить в него и в его формулы. Все, что не укладывается в эти формулы, – или вовсе не существует для них, или подлежит «искоренению»; все несогласные с ними объявляются вредными лжецами и лицемерами. Такие полуобразованные фанатики верят своему «учителю» с той же легкомысленною неосновательностью, с какою они верят во всемогущество мысли и в свою мнимую «науку». Таинственная глубина материального и душевного мира остается им недоступной, и все их воззрение на природу и на людей оказывается предметом их *суеверия*. И нередко бывает так, что чем пошлее их миропонимание, тем фанатичнее они *верят* в него. *Веровать* же они не способны и к религии относятся с презрением и враждебностью, не подозревая о том, что именно у *верующих* вера может быть ответственною, серьезною и глубокою. Вот источник современного воинствующего безбожия.

Это состояние души, распространенное в современном человечестве, давно уже было подмечено нашими поэтами, описано и осуждено ими.

Так, у друга Пушкина, князя П. А. Вяземского, мы находим следующие гневные строки:

Наш разум, омрачась слепым высокомерьем,
Готов признать мечтой и детским суеверьем
Все, что не может он подвести под свой расчет.
Но разве во сто раз не суеверней тот,
Кто верует в себя, а сам себе загадкой,
Кто гордо оперся на свой рассудок шаткий
И в нем боготворит свой собственный кумир?..⁹

Еще глубже и пророчественнее звучит та же мысль у Тютчева:

Не плоть, а дух растлился в наши дни,
И человек отчаянно тоскует;
Он к свету рвется из ночной тени
И, свет обретши, ропщет и бунтует.
Безверием палим и иссушен,
Невыносимое он днесь выносит...
И сознает свою погибель он,
И жаждет веры... но о ней не просит...¹⁰

Увы, люди этого уклада, по-видимому, далеки еще от сознания своей «погибели». Они все еще верят в свою «полунауку».

Достоевский имел это в виду, когда писал: «Полунаука самый страшный бич человечества... Полунаука – это деспот, каких еще не приходило до сих пор никогда. Деспот, имеющий своих жрецов и рабов, деспот, перед которым все преклонилось... с суеверием, до сих пор немыслимым...»¹¹

Но если полуобразованные люди склонны переоценивать науку и ее силы, то сущность истинной веры и религия остается для них совсем непонятной.

На самом деле религиозная вера вовсе не связана с «глупостью» и «невежеством», она нужна всем людям: и самым умным, и самым образованным. К сожалению, в мире немало людей, которые *не умеют* возвести свою слепую веру на уровень духовно-зрячего, религиозного верования; и наряду с ними есть еще больше людей, которые «принципиально» *не хотят верить, но совсем не верить* не могут, и потому верят в нелепое и вздорное, а потом не хотят признаться в этом, отрицают свою веру и уверяют, что их нелепости «познаны» и «доказаны» (напр., воинствующие материалисты). И как не противопоставить им тех многих умных и научно образованных людей, которые верно постигли сущность науки и границы человеческой мысли и тем освободили в своей душе место *для искренней и чистой веры в Бога*).

⁹ Кн. П. А. Вяземский. Молитвенные думы.

¹⁰ Стихотворение А. Ф. Тютчева «Наш век» (Примеч. ред.).

¹¹ Достоевский. Бесы. Часть вторая. Глава первая. VII.

Для того чтобы это утверждение не казалось голословным, приведем несколько живых свидетельств, высказанных великими естествоведами за последние четыре века. Их можно было бы привести гораздо больше¹².

Вот суждение великого славянина Коперника (1473–1543): «Созерцая мысленно великолепный порядок мироздания, управляемый с божественной премудростью, кто не почувствовал бы, что постоянное созерцание его и, так сказать, интимное общение с ним возводят человека к Высшему и к восхищению перед всезидущим Строителем вселенной, в котором пребывает высшее блаженство и который есть венец всякого добра...»

А вот суждение Бэкона Веруламского (1561–1626): «Только поверхностное знание природы может увести нас от Бога; напротив, более глубокое и основательное ведет нас назад, к Нему...»

Знаменитый хирург своего времени Парэ (1517–1590) говорил о своих пациентах: «Я перевязывал, целил – Господь...»

Галилео Галилей (1564–1642) записал: «И Священное Писание и природа исходят от Божественного Слова; первое – как внушение Святого Духа, вторая – как исполнительница Божьих велений...»

У Кеплера (1571–1630) читаем: «В творении – я касаюсь Бога как бы руками...» И еще: «О, Отец света, Ты, который при помощи естественного света пробуждаешь в нас желание света благодати, чтобы возвести нас к свету величия! Благодарю Тебя, о мой Создатель и Господь, за то, что Ты обрадовал меня творением Твоим, ибо я был в восторге от дела рук Твоих...»

Вот суждение знаменитого Бойля (1626–1691): «Истинный естествоиспытатель нигде не может проникнуть в познание тайн творения без того, чтобы не воспринять перст Божий».

Гете пишет (1749–1842): «Время сомнения прошло – теперь люди так же мало сомневаются в самих себе, как в Боге».

Заслуженный физик Эрстед (1777–1851) отметил: «Всякое основательное знание природы ведет к познанию Бога».

Анатом фон Халлер (1708–1777) высказал следующее признание: «Меня познание природы научило мыслить более возвышенно о Боге, пред которым наша земля есть одна из маленьких пылинок, лежащих в бесчисленном множестве у подножия его трона...»

Лаконическую формулу оставил нам астроном Мэдлер (1794–1874): «Настоящий естествоиспытатель не может быть отрицателем Бога...»

Знаменитый геолог Лиэлль (1797–1875) записал следующее: «В каком бы направлении мы не повели наши исследования, всюду мы открываем самые ясные доказательства творческого Разума или его провидения, силы и мудрости».

Следующие два замечания мы находим у православного химика Либиха (1803–1873): «Это все мнения дилетантов, которые из своих прогулок у пограничных областей естествознания выводят свое право разьяснять не знающей и легковверной публике, как это, собственно говоря, возникли мир и жизнь и сколь далеко зашел человек в исследовании высших предметов». «Не забывайте, – говорил он своим студентам, – что мы при всех наших знаниях и исследованиях остаемся близорукими людьми, сила которых коренится в том, что мы имеем опору в высшем Существо».

Зоолог Агассиц (1807–1873) устанавливает: «Из изучения природы каждый должен вынести убеждение, что все упорядочено неким возвышенным Духом».

¹² См. книгу Деннерта: Professor Dr. E. Dennert. Die Religion der Naturforscher. (Деннерт. Религия естествоиспытателей (нем.) – Примеч. ред.)

Ботаник Шлейден (1804–1881) высказывается в том же самом направлении: «Именно настоящий и точный естествоиспытатель никогда не может стать материалистом в современном смысле слова, отрицателем духа, свободы и Божества».

Весьма интересное признание мы находим у Чарльза Дарвина (1809–1882): «В состояниях самого крайнего колебания я никогда не был атеистом в том смысле, чтобы я отрицал существование Бога».

Известный ученый фонМайер (1814–1878), открывший закон сохранения энергии, пишет: «Если поверхностные головы, охотно выдающие себя за героев дня, не хотят признавать вообще ничего иного и высшего, кроме материального чувственно воспринимаемого мира, то такую претензию отдельных лиц нельзя ставить в укор науке; еще менее пользы и чести будет самой науке от этой претензии». «Из целостного, полного сердца восклицаю я: истинная философия не может и не смеет быть ничем иным, кроме как пропедевтикой для христианской религии».

Приведем, наконец, суждение знаменитого французского ученого Дюбуа-Реймона (1818–1896): «Только Божественному всемогуществу можем мы достойно приписать, что оно до всякого представимого времени создало всю материю посредством творческого акта...»

Приведенного достаточно. Желаящие пусть обратятся еще к Ньютону, Лейбницу, Фехнеру и к философам всех времен и народов, исходившим непосредственно из духовного опыта¹³.

Один из глубокомысленнейших историков XIX века (Карлейль) точно передает основной дух приведенных нами формул, когда говорит: «Человек вообще не может знать, если он не молится чему-то в определенной форме. Нет этого— и все его знание оказывается пустым педантством, сухим чертополохом...»¹⁴.

Но молиться имеет смысл только тому, чему действительно стоит молиться. Как же могут люди воспринимать Бога? Где же путь, ведущий к Нему?

Благо тому, в чьей душе этот путь проторен с раннего детства...

Но как быть ищущему и еще не нашедшему?

¹³ См. следующий раздел «Источник веры».

¹⁴ Карлейль Т. Герои, почитание героев и героическое в истории. – Спб., 1908.—С. 88 (Примеч. ред.).

5

Источник веры

Итак, знание и вера совсем не исключают друг друга. С одной стороны, потому что положительная наука, если она стоит на высоте, не преувеличивает ни своего объема, ни своей достоверности и совсем не пытается судить о предметах веры; она не судит о них ни положительно («есть Бог», «жизнь человека имеет высший священный смысл»), ни отрицательно («Бога нет», «человек не выше обезьяны» и т. п.). Ее граница— чувственный опыт, ее метод— объяснять все явления естественными законами и стараться доказать каждое свое суждение. Она держится за этот опыт и за этот метод, отнюдь не утверждая, что они всеобъемлющи и исчерпывающи, и отнюдь не отрицая того, что можно достигнуть истины в другой области при помощи *другого опыта и другого метода*¹⁵.

С другой стороны, настоящая вера вырастает именно из этого *другого опыта* и идет своим *особым путем* («методом»), отнюдь не вторгаясь в научную область, не вытесняя и не заменяя ее.

Тот, кто полагает, что вера есть нечто произвольное, несерьезное и безответственное и что веровать можно только без всяких оснований в недостоверное и выдуманное, – тот жестоко ошибается; и ошибка его проистекает из наивности. Так, он, конечно, воображает, будто он хорошо знает и понимает, *что такое человеческий опыт* и что значит *обоснованность и достоверность*. На самом же деле он этого не знает и не понимает, и в этом его наивность. Поэтому он должен однажды убедиться в том, что он всего этого не понимает, и, убедившись, отказаться от своего предрассудка и взять назад все свои суждения.

На самом деле человеческий опыт бесконечно шире, богаче и разнообразнее, чем это представляют себе современные материалисты и безбожники. Когда они говорят об этом, то они представляют себе *чувственный опыт*, который дается человеку через его внешние чувства (зрение, слух, осязание и т. д.) и открывает ему доступ к материальному миру. Человек, прилепившийся исключительно к чувственным ощущениям (сенсуалист) и принимающий всерьез только то, что они ему приносят (а они говорят ему только о внешних, пространственно-протяженных вещах, т. е. о материальном), станет, сам того не замечая, материалистом.

Материалист привержен к одному единственному источнику опыта, он верит только в него и пользуется только им, этот источник составляют внешние ощущения. Вследствие этого материалист отличается односторонностью, ограниченностью, скудостью своего опыта. Это не значит, что он в действительности имеет дело только с внешними, чувственными восприятиями, так что он только и может видеть, слышать, обонять, касаться и иметь вкусовые раздражения; нет, но он вырабатывает себе (иногда бессознательно, иногда сознательно) такую душевную установку, *как если бы он не имел никакого другого опыта*. Он живет и думает так, как если бы в его опыте не было никаких *нечувственных содержаний*, как если бы доказывать и обосновывать можно было только при помощи чувственных восприятий и только в области материальных вещей. Он не привык вращаться в сфере иного опыта и иных предметов. Он как бы прильнул раз и навсегда к состояниям своего тела и к показаниям его органов, *им доверился, в них поверил* и затем уверил себя, будто ни у него, ни у других людей нет доступа ни к чему другому. Его внимание, его интерес, его желания, его деятельность обращены на внешнее; выражаясь условно, можно сказать, что он «экстравертирован» (обращен наружу). И если он видит человека «интровертированного» (обращен-

¹⁵ Метод есть слово греческое и обозначает буквально «путь вслед за чем-нибудь», «путь к известной цели».

ного вовнутрь, к внутреннему, нечувственному миру), то он оказывается не способным ни понять его установку, ни поверить ему на слово: он объявляет его выдумщиком, фантазером или обманщиком. А между тем всякий сколько-нибудь опытный мыслитель мог бы без особого труда доказать такому наивному и самоуверенному материалисту, что он решительно неправ, ибо все сводится к односторонней скудости *его* опыта или, еще точнее, к *нежеланию* его заметить и принять всерьез другой опыт, без которого он сам не может обойтись. У материалиста, как и у всякого человека, имеются не только *телесные* состояния, но и *душевные* состояния; и многие из этих душевных состояний дают ему *нечувственный* опыт и открывают ему *нечувственные предметы*. Неумно и вредно закрывать себе глаза на это разнообразие и богатство опыта, культивировать свои *низшие* способности и отвергать или даже отрицать *высшие*. Еще глупее и вреднее – пытаться уговорить других людей к такому же скудоумию или прямо навязывать им это скудоумие в порядке государственного принуждения, как это делают коммунисты, предписывая материалистическое преподавание в школах и давая социальные преимущества безбожникам и воинствующим материалистам.

В действительности дело обстоит так, что человеку, наряду с чувственными ощущениями, даны и другие, бесконечно более благородные, утонченные и значительные *источники опыта*. Судьба каждого отдельного человека, целых поколений и национальных культур зависит от того, живут ли люди этим опытом, умеют ли ценить, развивать и творчески пользоваться источниками его и т. д. Весь современный духовный кризис, переживаемый человечеством, объясняется тем, что человечество вот уже в течение нескольких поколений пренебрегало источниками этого опыта и отвыкло, отучилось пользоваться ими; ослепленное успехами естествознания и техники, охладевшее к религиозным глубинам жизни, оно доверилось всецело (или почти всецело) чувственным ощущениям и вырастающей из них теории и практике. Вследствие этого люди нового времени изошрились в изучении материальной природы и в технических изобретениях и незаметно оказались в состоянии детской беспомощности в вопросах *духовного опыта, духовной очевидности и духовных умений*. Преодолеть этот кризис можно только одним способом: *вернуться к этим благородным и чистым источникам духовного опыта, пробудить их и творчески зажечь ими*.

Человек не может жить одними чувственными восприятиями, исходя только из них и ограничиваясь только ими; может быть, это и доступно простейшим и низшим животным, но, напр., собаки и лошади стоят, несомненно, уже на более высокой ступени. Человеку же присущи сверх телесных ощущений еще чувствования, сила воображения, воля и энергия мысли. Конечно, он может пренебрегать этими состояниями или, так сказать, *внутренними актами* и сводить их к известному минимуму, уподобляясь животным, у которых преобладают чувственные ощущения и телесные потребности: человек может также превратить эти высшие потребности своей души в простое оружие своих телесных раздражений и потребностей, т. е. не столько жить ими, сколько злоупотреблять ими. Но если бы он вступил на этот путь, то из этого возникли бы только величайшая нужда, варварство и пошлость. Почему? Потому что эти пренебреженные и брошенные душевные силы отнюдь не перестали бы жить и действовать в его душе, а стали бы нести *нечистую жизнь* и увлекать душу на *гибельные пути*, ибо орудие, которое не чистят и запускают и которым злоупотребляют, всегда становится вредным и опасным.

Конечно, можно относиться с презрением к жизни *чувства* – напр., к любви, радости, благодарности, уважению, благоговению, чести и патриотизму – и отвергать все это как «сентиментальность», но от этого душевные чувствования отнюдь не исчезнут, они станут не только грубыми, злобными, нечистыми и отвратительными, т. е. душевно и телесно вредными, а духовно гибельными; они прилепятся к *дурным* содержаниям, и человеческая душа исполнится ненависти, зависти, злости, гордости и мстительности.

Точно так же «отвергнутая» и запущенная *сила воображения* отнюдь не исчезает и не прекращает свою жизнь; напротив, она разнуздывается и предается самым низменным, грубым и унижительным жизненным содержаниям: она отыскивает похотливые, безвкусные, злые образы и наслаждается ими и проносится слепо и равнодушно мимо образов целомудренной чистоты, благородства и божественной красоты. Люди, не уводящие своего воображения к высшим, нечувственным содержаниям, становятся *пленниками пошлости* и, по слову мудрого Гераклита, всю жизнь «наслаждаются грязью».

Такая же судьба постигает и человеческую волю, если она оказывается духовно беспризорной и нравственно разнузданной: она начинает служить *волку в человеке* и становится его свирепым орудием. Невоспитанная, неодоухотворенная, необлагороженная воля есть источник всех коварных, злобных и преступных поступков на земле. В ответ на это человек может, конечно, возразить, что все эти понятия и мерила не имеют для него никакого смысла. Но эта ссылка есть лишь пустая фраза в его устах: как только *чужое коварство, чужая злоба* и преступность обрушатся на него самого, так он сразу ощутит, что означают эти идеи, и начнет поносить *чужого* волка, забыв о том, что он давно уже спустил с цепи своего собственного.

Подобно этому и *мышление* человека творчески создает культуру не тогда, когда оно прилепляется к чувственному и материальному, чтобы просто «наблюдать» его явления и умственно «разлагать» их (анализировать); из этого не возникла бы ни одна наука, ибо научное познание невозможно без логической мысли (которая совершенно нечувственна) и без математической мысли (которая почти нечувственна), а также без нравственно воспитанной воли и без нечувственной интуиции... Мышление человека только тогда на высоте, когда оно способно подниматься от конкретно-чувственного к крылатому и интуитивно насыщенному отвлечению, сосредоточиваться на *духовных* содержаниях, пребывать в них, созерцать их и познавать их.

Все это означает, что помимо внешнего (чувственного) опыта человеку дан еще внутренний (нечувственный) опыт. И вот этот *внутренний духовный опыт и есть истинный источник и истинная область веры, религии и всей духовной культуры вообще*. Воспитать человека значит, прежде всего, пробудить в нем эти духовные переживания и открыть ему доступ к этому духовному опыту. Только в этом опыте человек может постигнуть, что такое *любовь*, какова ее глубина и сила и в чем ее священное значение. Только здесь он может научиться отличать добро от зла, услышать в самом себе голос совести, постигнуть, что такое честь, благородство и служение. Только в этой области он может увидеть, что такое художественность и прекрасное искусство, воспитать свой вкус и развить свое восприятие красоты. Только духовный опыт может открыть ему, что такое истинное знание, очевидность и доказательство и в чем состоит научная культура и достоинство ученого.

Через *духовный опыт человек общается с божественной стихией мира и входит в живое соприкосновение с Богом*. Отсюда возникает «*верующая*» вера. Здесь зарождается религия и церковь.

Пренебрегающий духовным опытом теряет доступ ко всему этому. Он как бы *сам залепляет себе духовные очи* и предается слепоте и пошлости. От всех вещей он видит только внешнюю видимость и довольствуется тем, что превращает ее в пустую абстрактную схему. Глубина и тайна жизни уходят от него – и во внешнем мире, и в его собственной душе. Он блуждает по распутьям до тех пор, пока не ударится головой о гранитную стену тех духовных законов, которые он отверг, или пока не сокрушится в пропасти тех духовных запретов, над которыми он доселе издевался. Ибо духовные законы и запреты связуют всех людей, в том числе и тех, которые отвергают их или издеваются над ними. Человеку дана свобода отвергать их и попираť их; но никогда еще человек и народ, идущий по этому пути, не вел на

земле *достойной, творческой и прекрасной жизни*; напротив, все они разлагались душевно, впадали в общественный беспорядок и смуту и исчезали в духовном небытии.

Только духовный опыт – опыт, открывающий человеку доступ к любви, совести и чувству долга, к праву, правосознанию и государственности, к искусству и художественной красоте, к очевидности и науке, к молитве и религии, – только он может указать человеку, что есть подлинно главное и ценнейшее в его жизни; дать ему нечто такое, чем стоит жить, за что стоит нести жертвы, бороться и умереть; открыть ему истинный и единственный *Предмет религиозной веры*. Надо, чтобы он в самом деле *увидел духовными очами* то, во что он будет отныне веровать, чтобы он *подлинно испытал и узнал божественность Бога* и прилепился к нему *свободно и целостно* – не понаслышке, не от усталости и отчаяния, не из доверия к чужому авторитету, ибо слухи меняются, и усталость проходит, и чужой авторитет может поколебаться. Человеку же нужен *камень веры*, который *вечно был бы с ним* – и в песчаной пустыне, и в снежной буре, и в непролазном лесу, и в тюремной одиночке, и в одиночестве всеобщей клеветы и злобы; такой камень, который всегда можно было бы осязать как неколебимую твердыню и стать на него, как на некий столп утверждения... Человеку необходим свет очевидности, некая не сгорающая купина, которая горела бы *в нем самом*, чтобы он мог и сам возгореться от нее; ему необходим свет не иссякающий и ему самому внутренне доступный. Источник такого света один: *это духовный опыт, в коем человеку открывается лицезрение Божие*. Отсюда – всякая подлинная, «верующая» вера, эта первая и высшая сила человеческой жизни, дающая ему свободный полет через жизнь и смерть. Только здесь человек может обрести своего Бога и Господа и соединить себя с Ним любовью и верностью.

Только этот внутренний духовный опыт делает человекообразное существо воистину человеком, т. е. духовной личностью, с неразложимым священным центром, с индивидуальным характером, со способностью духовно творить и наполнять духом общественную жизнь, свободу, семью, родину, государство, частную собственность, науку и искусство. Потому что *последняя основа* всего этого, *творческий первоисточник* всей духовной культуры есть *Божественное в нас*, даруемое нам *в откровении живым и благим Богом*, воспринимаемое нами посредством любви и веры и осуществляемое нами в качестве самого главного и драгоценного в жизни.

Иными словами: вся *духовная культура* возникает лишь из того и благодаря тому, что человек не ограничивает себя чувственно внешним опытом, не отводит ему ни исключительного, ни хотя бы преимущественного значения, но, напротив, признает основным и руководящим *духовный опыт*, из него живет, любит, верует и оценивает все вещи, а следовательно, им же определяет и последний смысл и высшую цель внешнего чувственного опыта, т. е. сперва обретает «внутри себя» Божественное начало, а затем представляет ему водительство во всей внешней жизни.

Самым глубоким и могучим источником духовного опыта и религиозной веры является любовь.

Глава вторая О любви

1

Что есть любовь

Первым и глубочайшим источником духовного опыта является духовная любовь. Ее надо признать основным и необходимым «органом» духовного опыта. И всякому христианину это должно бы было быть ясным без доказательств.

Все попытки определить *любовь* в логическом порядке были бы тщетны: того, кто ее не испытал, нельзя ни просветить, ни убедить в этом отношении. Впрочем, духовный опыт подобен в этом всякому другому опыту. *Всякое доказательство* покоится в конечном счете и в последней инстанции на живом опыте, на живом восприятии и увидении. Всякое доказательство ведет рано или поздно (чем скорее, тем лучше!) к *предмету*, который надо воспринять, увидеть и пережить; и тот, кто не может воспринять предмета или не хочет испытать и увидеть его, – тому вообще никогда и ни в какой области нельзя ничего доказать: ни в естествознании, ни в истории, ни в философии. Последняя ступень доказательства всегда звучит так: «А все это потому, что сам предмет таков; вот он – переживи, восприми, испытай и признай!» и потом: «Если не хочешь или не можешь, то отойди, умолкни и не мешай другим!»... Именно так: неспособный к предметному опыту должен уйти из исследовательской лаборатории и прекратить всякие споры, и притом вследствие своей умственной или духовной неспособности. В философии дело обстоит совершенно также, как и в высшей математике, или в физике, или в юриспруденции...

И тем не менее живое своеобразие духовной любви может быть и должно быть *описано*. Что это за состояние – любовь? И чем отличается духовная любовь от недуховной?

Там, где начинается любовь, там кончается безразличие, вялость, экстенсивность: человек собирается и *сосредоточивается*, его внимание и интерес концентрируются на одном содержании, именно на любимом; здесь он становится *интенсивным*, душа его начинает как бы накаляться и гореть. Любимое содержание – будь то человек, или коллекция картин, или музыка, или любимые горы – становится живым центром души, важнейшим в жизни, главнейшим предметом ее. Оказывается, что любовь дает человеку, по слову Платона, сразу – душевное *богатство* и душевную *бедность*: богатство – ибо человек нашел сокровище своей жизни, которым он владеет и которое он как бы носит в себе: отсюда чувство душевного обилия, силы, счастья, повышенного интереса к жизни и благодарности за все это; бедность – ибо у человека возникает чувство, что он никогда не владеет своим сокровищем до конца и что *без него и вне его* он сам скуден, печален и одинок: отсюда чувство душевной скудости, слабости, несчастья, разочарования во всем и ропот на свою лишенность и нищету. И все же, несмотря на эту тоску лишенности, человек чувствует себя обогащенным и богатым.

Вот почему любовь есть *радость*, которая не покидает человека даже и в страдании, но светит ему сквозь все неудачи, лишения и огорчения, так что он радуется и тогда, когда терпит муку: ибо знает, что он имеет в себе самом некое сокровище и чувствует, как от близости к этому сокровищу душа его заливается глубокой и тайной радостью, как бы неким блаженным светом. Оказывается, что любовь сама по себе, даже в отрыве от любимого предмета, есть уже счастье, в котором душа перестает каменеть, размягчается, становится как бы подвижной и легкой, гибкой и текучей; она нежно чувствует, поет и обращается ко всему

миру с сочувствием и добротой. *Любовь есть доброта* – не только потому, что она окружает сочувствием свой любимый предмет, печется о нем, страдает и радуется вместе с ним, но и потому, что любовь сама по себе дает человеку счастье и вызывает у счастливого потребность – осчастливить все и всех вокруг себя и наслаждаться этим чужим счастьем как излучением своего собственного. Истинная любовь этим не исчерпывается и на этом не останавливается: она вживается в любимый предмет вплоть до *художественного отождествления* с ним¹⁶. Чувство и воображение соединяются у любящего человека и повышают силу его восприятия и воспроизведения настолько, что пронизательность его по отношению к любимому предмету доходит до настоящего *интуитивного ясновидения*. Иногда эта сила ясновидящей пронизательности ограничивается одним любимым человеком (напр., у матери – ее детьми) или любимым предметом (напр., у музыкального критика – музыкой одного любимого композитора); но иногда эта сила переносится и на других людей, и даже на весь мир (напр., у гениального художника). Во всяком случае, человек, осчастливленный любовью, созерцает и воспринимает предметы внешнего и внутреннего мира совсем иначе, чем человек с сухим и каменеющим сердцем, холодный и чопорный эгоист. Любящему человеку весь мир говорит иное и иначе, так, как если бы каждый цветок раскрывался ему по-особенному, каждая птичка пела ему по-иному, каждый луч солнца светил ему ярче, каждое человеческое сердце повертывалось к нему особливо; подобно тому, как в сказке избушка на курьих ножках повертывается к Ивану Царевичу передом, а к лесу задом. Ибо любовь есть сила всеотгревающая, всеотмыкающая и всевидящая; она сама и цветет, и поет, и сияет. Вот почему любящая душа воспитателя, врача, художника и духовника есть поистине священное орудие для новых постижений и умений; и в сравнении с их видением и влиянием наблюдение жестокосердного эгоиста есть лишь жалкая немощь. Ибо они воспринимают то,

Что для ума покрыто тьмою,
Но сердцу видимо вдали...

(Кн. П. А. Вяземский)¹⁷

И это видение и влияние любящего сердца, проявляющего нередко истинно гениальную пронизательность, усиливается еще от самоотвержения, этого последнего и высшего дара любви. В самом деле, вчувствование и воображение любящего сердца доходит иногда до того, что человек действительно проявляет полное самоотречение: любимый предмет оказывается для него выше его самого; он становится для него живым центром его жизни, которому он служит, нисколько этим не унижаясь, и которому он приносит многое в жертву, щедро и беззаветно, нисколько не помышляя об этих жертвах. Он делает единственное, что ему естественно и неизбежно делать; он делает необходимое как единственно для него возможное и добровольно желанное, не думая о других, трусливых и неискренних путях.

Такова настоящая любовь, так она действует и проявляется в жизни.

В таком виде любовь можно найти иногда, хотя совсем не часто, и в обыденной жизни, именно там, где она проистекает из чистого и цельного сердца. Никто не умел живописать людей такого сердца и такой любви столь совершенно, как Достоевский, Лесков и Шмелев в России, как Диккенс и Гофман в Западной Европе. Но свою настоящую и высшую форму эта любовь приобретает тогда, когда она *срастается с духовным опытом* или прямо *вырастает* из него.

Человеку доступна двоякая любовь: *любовь инстинкта* и *любовь духа*. Они совсем не враждебны и не противоположны, но сочетаются они сравнительно редко. Отчасти потому,

¹⁶ См. главу первую, раздел второй.

¹⁷ Отрывок из стихотворения «Молись».

что многие люди совсем не знают духовной любви; отчасти потому, что обе эти любви вступают в разноречие друг с другом; отчасти потому, что более сильная из них не дает другой развиваться и окрепнуть и просто подчиняет себе слабейшую. Но сколь же счастливы те люди, у коих оба потока любви соединяются в один и становятся тождественными! Всякое иное счастье на земле является по сравнению с этим счастьем чем-то второстепенным.

Отличие этих двух видов любви совсем не в том, что одна из них есть «чувственная» и потому «земная», другая же посвящена «сверхчувственному» и называется «небесной» или «платонической». Различие их в том, что *любовь инстинкта* ищет того, что данному человеку *субъективно нравится*, с тем, чтобы потом слепо идеализировать это нравящееся и без всякого основания приписывать ему в воображении все возможные совершенства; здесь все определяется субъективной приятностью и личным удовольствием, тогда как начало качества, достоинства, совершенства отходит на второй план или же не имеет никакого значения. Формула этой любви приблизительно такова: «Этот предмет мне нравится, значит, ему должно быть присуще всякое совершенство; мил – значит хорош; *по милу хорош...*» Само собой разумеется, что за этим ослеплением, за этой наивной идеализацией следует в большинстве случаев ранее или позднее разочарование.

В отличие от этого *духовная любовь* тяготеет к *качеству, достоинству, совершенству*. Она не восхваляет слепо то, что нравится; но ищет подлинно хорошего, и это подлинно хорошее вызывает у человека чувство любви: это – доброта и благородство души, художественное произведение искусства, человек с глубоким и чистым сердцем, справедливость, мудрость, величие и значительность природы, словом – *божественное совершенство* во всех явлениях, вещах, людях, состояниях и поступках... У человека, живущего духовной любовью, чувствующее и чуткое сердце обращено как бы от природы на *объективно хорошее*, на такое, что *на самом деле* «добро зело»; и эта обращенность сердца на объективное качество или достоинство вещей – есть всегда некий дар Божий, который может быть, однако, укреплен и развит как воспитанием, так и *самовоспитанием*. Такой человек как бы смотрит в мир качественным оком, отыскивая подлинное совершенство, находя его, предпочитая его, радуясь ему и насыщаясь духовно только им; сердце его утешается им, наслаждается им, любит его; оно связывает себя с ним; оно испытывает его успех и победу, как свои; оно всегда готово помочь ему словом и поступком, послужить ему, принести ему в жертву многое другое...

Духовная любовь есть как бы некий *голод души по Божественному*, в каком бы облике это Божественное ни появилось. Она есть как бы вздох, призыв, молитва, обращенная к духовному небу: «Явись! дай мне узреть Тебя! откройся! дай мне эту благодать и радость!!» И эта молитва, может быть, совсем не произносится словами, а *безмолвно живет в сердце в виде сокровенного, легкого трепета* – трепета ожидания, надежды, вечного озирания; или – у волевых людей – в виде уверенности, требования, настойчивых неутолимых поисков.

Формула этой любви приблизительно такова: «Этот предмет хорош (может быть, даже совершенен); он *на самом деле хорош*, не только для меня, но и для всех; он хорош – объективно; он остался бы хорошим или совершенным и в том случае, если бы я его не увидел, или не узнал, или не признал его качество; я слышу в нем дыхание и присутствие Божественного Начала – и потому я не могу не стремиться к нему; ему – моя любовь, моя радость, мое служение...»

Выражая это русской простонародной поговоркой, можно сказать: «*Не по милу хорош, а по хорошу мил*».

Можно бы сказать, что духовная любовь есть не что иное, как *вкус к совершенству* или – верный духовный *орган для восприятия Божественного совершенства* как в небесах, так и на земле. Можно было бы сказать, что этот вкус или орган присущи человеку по благодати Божией; но в то же время необходимо было бы добавить, что зачатки такого вкуса или органа

свойственны многим (если не всем!) людям «от природы», конечно – в различной степени и силе. Одни люди живут в этой *духовной интенции*¹⁸; они пребывают в ней, любят ее, дорожат ею; укрепляют, углубляют, очищают ее в себе; и затем, исходя из нее, *веруют и действуют*. Напротив, другие пренебрегают ею, не дорожат ею, не умеют освободить для нее ум и свое сердце – и потому блуждают по диким и случайным тропам своего неразборчивого права или своей прихоти и похоти.

Из всего этого ясно, что духовная любовь совсем не исключает инстинктивную или чувственную любовь. Она не отрицает ее, а только прожигает ее Божиим лучом, очищает, освящает и облагораживает. Инстинкт, примирившийся с духом, участвующий в *его* видении и в *его* радовании, не перестает быть инстинктом и не отрекается от чувственной, плотской любви; он утрачивает только тягу к самовольству, силу буйного соблазна и присущую ему духовную бессмысленность. Сила инстинкта и сила духа сочетается, чтобы не разлучаться; и тогда *чувственная любовь становится верным и точным знаком духовной близости и духовной любви*. «Мил» и «хорош» соединяются: и инстинкт получает полную свободу считать свое субъективное «нравится» духовно безошибочным. «Небо» как бы сходит «на землю»; или, вернее – дух является в инстинкт, и акт инстинкта становится духовным событием...

Понятно, что все то, что мы высказали о любви вообще, относится и к духовной любви.

В духовной любви человек сосредоточивает свои духовные силы на том, что *на самом деле* хорошо и совершенно; и вследствие этого огонь этой любви становится священным пламенем.

Это *объективно совершенное* есть *само Божественное*, как бы излучившееся в мир, в природу и людей и вот теперь излучающее из них навстречу ищущей душе. Мир вещей и людей пронизан веяниями благодати, освещен и освящен присутствием Духа Божия. Духовно слепой не видит этого света, духовно мертвенный не осязает этих веяний. Но душа духовно разверстая и чуткая внемлет им, как чудной и светлой музыке. Она внемлет им и в веселии полевых цветов, и в благодати первопахшего и всепрощившего снежного покрова, и в молчании далеких ледяных гор, «и в разъяренном океане, среди грозных волн и бурной тьмы» (Пушкин). Она внемлет им и в умилении материнского сердца, и в смирении кающегося грешника, и в подвиге доблестного патриота, и в «созданиях искусств и вдохновения» (Пушкин), и в познавательном восторге ученого аскета. Для духовно зрячей души вся «эта сотворенная природа» есть не что иное, как некая «великая книга», в которой человек, «когда хочет», может читать «слова Божий» (Антоний Великий¹⁹), ибо нет в мире «места или вещества какого, где бы не было Бога» (Антоний Великий²⁰) и «Богом создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое» (Ап. Павел²¹).

Два человека смотрят одновременно в мир вещей и людей. И вот один видит Бога, а другой не видит. Почему? Потому что увидеть Его можно только тому, кто зажег в самом себе свечу духовной любви и духовного видения.

Природа не для всех очей
Покров свой тайный подымает:
Мы все равно читаем в ней,
Но кто, читая, понимает?

¹⁸ Слово «интенция» выражает сразу и «направленность», и «интенсивность», значит – сосредоточенную направленность, концентрированность.

¹⁹ Добротолюбие. Том 1, с. 588. Приведено у Евагрия.

²⁰ Добротолюбие. Том 1, с. 75, стр. 91 и др.

²¹ Послание к Колоссянам, гл. I, стих 16.

Понимают не все, лишь тот,
Кто жизни не щадил для чувства,
Венец мученьями купил,
Над суетой вознесся духом
И сердца трепет жадным слухом
Как вещей голос изловил!²²

Чтобы увидеть духовное и священное, надо самому обратиться к миру из духа и святости; чтобы увидеть свет и тайну, надо иметь в душе орган для тайны и света. И потому надо укрепить и развить в себе этот орган, надо приобрести *око для духа* и внутреннее *огнилице для любви*. И тогда только откроется нам, что, действительно, «нет на земле ничтожного мгновенья»²³; и станет понятно, почему есть немало людей, которые смотрят и не видят, или, по Гераклиту, «присутствуя, отсутствуют».

Лучи к ним в душу не сходили,
Весна в груди их не цвела,
При них леса не говорили
И ночь в звездах нема была!
И, языками неземными
Волнуя реки и леса,
В ночи не совещалась с ними
В беседе дружеской гроза.²⁴

Все это означает, что *любовь к совершенному отверзает человеку очи духа* и является первейшим и главнейшим *источником веры в Бога*. Кто любит, тот того жаждет и ищет. Атак как искомое есть Бог – *подлинно реальное совершенство* – то он Его и находит. Вот что значит обетование: «близ стою, при дверех».

Тогда Бог становится живым средоточием человеческой жизни, ее сокровищем, уже обретенным, но все же всегда искомым; и сам человек становится *богат*, как обладатель этого сокровища, и в то же время *беден*, как вечно ждущий его, как вечный пилигрим. Здесь он находит доступ к духовной реальности, которая открывается ему в духовном опыте и не подлежит никакой внешней «относительности» или условности. Здесь он обретает неиссякаемый источник радости, священной радости, духовного блаженства; и ничто внешнее не может лишить этого источника, ибо он в нем самом. Отсюда ведет свое начало и свой закон его жизненная воля, здесь он научается сильно желать верного, здесь он познает свой долг и свои обязанности, здесь он научается самоотверженному, жертвенному служению. В нем слагается последняя и глубочайшая *основа его личного характера*, закладывается тот камень, на котором он утвердит алтарь своей души. И так как он, как всегда все люди, движимые любовью, искренно и сосредоточенно живет любимым предметом, вживаясь в него, или, по выражению Церкви, «облекается в него», то его внутреннее существо начинает приобретать живой оттенок совершенства, живую освященность, исходящую от Бога. Возникает живое единение, о котором мы уже говорили²⁵. Человек не противостоит Богу как чуждому, страшному «инобытию»; он воспринимает Его таинственным образом в себя, он носит Его в глубине своего сердца так, что человек освящается присутствующим в нем Божеством,

²² Веневитинов. Поэт и друг.

²³ Баратынский. На посев леса.

²⁴ Тютчев. «Не то, что мните вы, природа...».

²⁵ См. главу первую, раздел второй.

а Бог как бы излучается из его сердца и его дел. По словам ап. Павла: *соединяющийся с Господом есть один дух с Господом* (1 Кор. 6, 17).

Именно это имел в виду Макарий Великий, когда говорил о таинственном «срастании», или «врастании». Именно это имел в виду Гегель, когда утверждал, что искренняя и огненная молитва к Богу является сама по себе лучшим доказательством бытия Божия, ибо она есть не что иное, как живое действие Духа Божия в сердце молящегося человека... Кто взывает к Богу из глубины сердца, в том уже действует внутренне сам Господь; и это есть действительное, опытное и очевидное доказательство Его бытия, после которого незачем требовать какого-нибудь другого умственно рассуждающего доказательства. Но это доказательство может быть получено в личном и живом духовном опыте; человеку же, лишенному этого опыта, оно остается недоступным. Тот, кто получил этот опыт и это доказательство, тот уже никогда не почувствует себя покинутым или отверженным: ибо он знает, где и как он снова найдет открывшийся ему доступ; и он сумеет найти его и тогда, если он будет погибать совсем одиноким в морской буре, или в ледяной пустыне, или в самом последнем тюремном подземелии; он и в беде найдет этот путь и в смерти получит духовную опору.

2

Любовь как путь

Итак, любовь к совершенному есть источник религиозной веры. Именно на этом пути человек становится верующим в подлинном и чистом смысле этого слова.

Нельзя начать веровать в силу логических, отвлеченно умственных доказательств или аргументов. Рассудочные доказательства могут только *разрушить умственные сомнения*, да и то только в том случае, если все сомнения проистекают из умственного источника и имеют разумные и предметные основания²⁶. Вера не дается доказательствами. Ибо источник веры не в рассуждении, а в *предметном горении сердца*. В этом основное отличие православия от протестантизма.

Точно так же нельзя веровать в силу волевого решения – своего собственного или чужого (приказа или понуждающего мучительства). Правда, человеку, который уже верит (именно верит, а не верует) или который способен начать верить в порядке самовнушения (особенно если ему безразлично, во что, собственно, «надо» верить), – воля может помочь в *подавлении сомнений* или других внутренних противлении. Но к верованию этот путь не ведет. Сколько бы человек ни твердил себе, что «надо» уверовать, сердце от этого не воспламенится и духовное видение от этого не возникнет. Однако воля может разбить цельность души и этим сделать веру навсегда недоступною для человека, воля может приучить человека к лицемерному доказательству и этим извратить его религиозность. Одно несомненно – что никакое волевое напряжение не может отверзнуть духовно незрячие очи и не может вызвать к жизни глубинный огонь любви. Вера не дается волевому нажиму. Ибо источник веры не в волевом решении («буду веровать»), а в *силе созерцающей любви*. В этом основное отличие православия от католичества.

Человек может уверовать, только свободно и полно прозрев, духовно прозрев сердцем или, иначе, – узрев Бога в горении свободной и искренней любви. Но это каждый из нас должен пережить сам в себе и за себя. Правда, горящая вера одного, изливаясь в слова его и делах, может вызвать огонь в других сердцах; но в этих других сердцах огонь должен появиться действительно как живое и самостоятельное пламя, а не только в виде «подражания» или внушающего «заражения». Тогда только духовная любовь может вызвать в душе духовное прозрение (как бывает у одних людей) или же (как бывает у других) духовное прозрение вызовет к жизни пламя веры. Тогда вера может превратиться в средоточие души и в действительности путь жизни.

Вера становится *главным в жизни*, не в смысле церковного богослужения – ибо совсем не все люди призваны к духовному сану, – а главным источником настроений, решений, слов и дел. Вера вдохновит и направит волю, раскроет уму и воображению новые горизонты, облагородит жизнь чувства и воспитает, освящая и одухотворяя чувственную жизнь человека. Она станет как бы в центре душевного круга или жизненного шара и разошлет по всей периферии как бы живыми радиусами свои лучи в виде всепроникающего света, вскрывающего во всем духовный смысл и особую, не выставляющуюся напоказ религиозную значительность. И от этого постепенно, но окончательно вытравится из жизни источник безбожия и главный враг духовности – *пошлость*.

У верующего человека открыто духовное зрение, отличающее *добро* от зла, *совершенное* от несовершенного. И потому он видит Бога: ибо Бог есть *добро и совершенство*.

²⁶ Я хочу сказать, что бывают сомнения, проистекающие из чисто личного и притом бессознательного источника, неустранимые и неутолимые никакими доказательствами, вечно возникающие вновь и наслаждающиеся собою, подобно нелепым вопросам «почему?» у маленьких детей.

У верующего человека на таинственном и скрытом от глаз «жертвеннике духовном» (Григорий Синаит) горит огонь; это его *духовная любовь*, ведущая его и заставляющая его прилепиться к совершенному. И потому он не только видит Бога, но и любит его по завету Евангелия «всем сердцем», «всею душою», «всем разумением» и «всею крепостью» (т. е. волею своею)²⁷.

И какие же доказательства или опровержения других людей могли бы убедить его, будто он «не видит» и «не любит Бога», когда он и видит и любит Его во всей подлинной реальности Его подлинного совершенства и во всех его таинственных, но благодатных излучениях в мир людей и вещей? Осязая духом Его действие во мне, воспринимая и созерцая Его в моем живом и подлинном духовном опыте, как могу я *не* уверовать в Него или перестать в Него веровать? Источник удостоверения во мне самом; этот источник имеет характер *живого опыта*, который глубже и первоначальнее всякого умственного доказательства, всякого отвлеченного опровержения...

Естественно, что человек, достигший этой ступени в своем внутреннем опыте и уверовавший в Бога, почувствует острую потребность узнать о Боге более того, что дает этот достоверный и пламенный, но, может быть, недостаточно определенный духовный опыт. Он непременно спросит себя: что же открывается мне – безличное Божество наподобие Огня Гераклита или Субстанции Спинозы или личный Бог, как о нем учит христианство? И если это личный Бог, то как представить себе Его? Как сочетать личное начало в Боге с его вездеприсутствием? Возможно ли увидеть и уразуметь отношение Бога к миру и к человеческому роду и отношение человеческого рода к Богу? И как удостовериться живым опытом и духовным видением в том, что христианская православная Церковь содержит религиозную истину?

Само собой разумеется, что ответить исчерпывающим образом на все эти вопросы можно было бы только в виде целого *догматического богословия*; но и его было бы недостаточно: надо было бы обратиться к духовным путям восточной православной аскетики и попытаться воспроизвести в собственном живом опыте (конечно, в меру личных сил) ее созерцательную практику. Все это не входит в нашу задачу. Мы должны ограничиться здесь следующими путеводными указаниями.

Ни один человек из живших или живущих на земле не может считать свою веру совершенной и законченной – ни по глубине и объему ее, ни по ее содержанию. Напротив, каждый остается до конца *строителем своей веры и Божиим учеником*. И чем искреннее и скромнее он в своем ученичестве, тем плодотворнее будет его строительство, тем большего он достигнет – и в углублении своей веры, и в раскрытии и обогащении ее содержания.

Ни один человек не имеет основания полагаться в этом на свои личные одинокие силы; ибо он может быть уверен, что всей жизни его, даже сосредоточенной и напряженной, не хватит на испытание Божиих тайн: «длинней земли мера Его»²⁸. Поэтому каждому человеку надлежит присмотреться к строению своего религиозного акта (ум ли в нем преобладает, воля, или воображение, или горение сердца и созерцание любви?..) и прислушаться к тем содержаниям, которые несет ему духовный опыт. И, присмотревшись и прислушавшись, – избрать себе наиболее сродную им религию и церковь и вступить в эту церковь и в эту религию в качестве *уже* верующего, но еще *недостаточно и несовершенно* верующего ученика. Можно предположить, что строение его религиозного акта будет наиболее близко к вере его отцов, но в жизни бывает и иначе. Необходимо установить при этом, что чем больше его вера будет питаться *горением сердца и созерцанием любви*, тем ближе окажется ему Православное Христианство.

²⁷ Мф. 22, 37–40; Мк. 12, 29–31; Лк. 10, 26–28.

²⁸ Лесков. Захудалый род.

Быть учеником в вопросах веры *не* значит заучивать формулы по указанию авторитетов; но значит бережно и ответственно углублять, очищать и расширять свое духовное чувствилище и его содержание; это значит припасть к духовно-религиозному опыту данной церкви как к некоей «неупиваемой чаше» (Шмелев)²⁹ и пить содержащуюся в ней мудрость и зоркость – мерю, лично доступною и целительною. Такое ученичество не только не постыдно и не унижительно, а наоборот – оно в смирении своем мудро и в целительности своей возносяще.

К какому бы исповеданию ни прильнул человек, к какой бы религии он ни приложился, он будет поддерживать общение с Богом. Это общение есть *молитва*. Опыт молитвы и ответит ему на все поставленные им вопросы.

Так, если вера его построена на *духовной любви*, то она откроет ему, что *Бог есть дух и любовь*, что всюду и всегда, где он коснется духа и любви в других вещах и людях, – он коснется как бы ризы Божией и что каждый раз, как он чувствует в себе самом веяние духа и трепет любви, – он приобщается Богу живому. Он убедится, что главное и священное в нем самом то, что составляет подлинную сущность его личности, – не только подобно Божию естеству, но что он *сам* есть искра его пламени, водная капля из этого источника, живое и личное существо (индивидуация), сродное этому Духу. Тогда он скажет: «я есмь жизнь от Твоей Жизни и дух от Твоего Духа; и то, чего я хочу духом моим, – есть Твоя Воля; и Твоему Делу я хочу служить отныне и до конца; и так, как я люблю Тебя, – так, но еще бесконечно совершеннее, я хочу быть любимым Тобою». И одна эта молитва покажет ему, что он услышан Богом и любим Им. И он впервые убедится, что Бог есть Бог *личный и живой*. Ибо воззвать и быть услышанным, молиться и чувствовать, что молитва дошла и принята, раскрыть свое сердце и почувствовать себя прощенным и исцеленным – значит вступить в *личное* общение с *личным* Богом. И, памятуя об условности и несовершенстве всех земных мерил и слов, он впервые скажет о Боге «Отец», а себя почувствует «сыном» этого Отца, состоящим в его неизъяснимой и благодатной любви.

Только *духом* можно познать Дух как высшее естество и существо всех вещей и людей. Только через живую огненную *любовь* можно познать, что Бог есть Любовь. Только тот, кто чувствует себя «сыном» в духе и любви, может воззвать к Отцу.

И тот, кто раз испытает и постигнет это, и после этого прочтет и прочувствует Евангелие, тот увидит во Христе подлинного, единородного Сына Божия и примет Его духом, любовью и верою.

²⁹ «Неупиваемая чаша» – название рассказа И.С. Шмелева (*Примеч. ред.*).

3

Любовь и вера

В этом описании нет никаких отвлеченных выдумок или произвольных построений. И в том, что здесь изложено, нет безответственного фантазирования или темного суеверия. Здесь свет разума не меркнет, здесь только устранены сумерки плоского рассудка и предоставлена свобода опыту сердца. Здесь все покоится на живом, подлинном, духовном опыте. И было бы хорошо, скромно и разумно, если бы тот, кто не пережил этого духовного опыта и не хочет приобрести и пережить его, – воздержался бы от суждений и отказался бы от праздной, иронической критики. Человек, не воспринявший Иисуса Христа духом и любовью, поступил бы лучше всего, если бы судил о Христе и христианстве с чрезвычайной осторожностью и отнюдь не причислял бы себя к врагам христианства. Часто, слишком часто безбожник является безбожником только потому, что он *еще не* выработал в себе духовного созерцания и держится неверного мнения, будто такой душевной способности нет и не может быть. Если я не знаю, где дорога в Иерусалим, – могу ли я заключить из своего незнания, что ни Иерусалима, ни дороги к нему вообще не существует? Или, если знающий эту дорогу затрудняется описать ее другому, то можно ли отсюда делать вывод, что он этой дороги совсем не знает или что он просто обманщик? Не всякий, живущий духовным опытом и духовной любовью, может научить других этому опыту и этой любви или описать их, обосновать их и раскрыть их сущность; для этого нужны особые способности и дары. Но кто берет на себя эту задачу, тот должен быть в самом деле мастером духовного опыта; он должен уметь жить, воспринимать и созерцать в духовной любви; ибо, если он этого не умеет, то он не может быть ни учителем, ни духовным воспитателем. Итак, духовный опыт, этот живой источник веры и религии, – не есть ни выдумка, ни суеверие. Он есть подлинная реальность, и каждый может и призван пережить его, удостовериться в нем и усвоить его (конечно, каждый по-своему и в своих пределах). И тогда он увидит, что из этого источника действительно истекает благодатный поток в человеческую жизнь и во всю человеческую культуру.

В строении и осуществлении духовного опыта отдельные люди и народы не похожи друг на друга³⁰. Так, например, история знает целые народы, которые искали «совершенства» прежде всего и больше всего в чувственной созерцании (греки); вследствие этого они создали религию образной красоты и боги их остались пластичными, человекообразными индивидуальностями, носителями силы, духовно и нравственно несовершенными существами, несмотря на завершенность их красоты и величия. Наряду с этим, история отмечает такие народы, которые «искали» совершенства в соблюдении законов и обрядов, предписанных им высшим авторитетом (иудеи); вследствие этого они создали религию строжайшей обрядности; и даже глубокие нравственные прозрения их позднейших пророков не могли ни изменить, ни отменить выработанное ими национальное понимание религии...

Еще гораздо многообразнее духовные пути отдельных людей. Есть люди, которые ухватывают край ризы Божией в искусстве и через искусство; они понимают и осуществляют искусство как особый способ видеть и изображать божественную сущность мира и человека. Наряду с ними есть и другие люди, которым вдохновение благородного искусства говорит очень мало, но зато сердце их расцветает в живой любви к ближнему так, что они приходят к духовному опыту и созерцанию Бога именно на этом пути. Есть люди, которым свет Божий дается в созерцании справедливости и права, в мудром, неподкупном, художественно-чутком правосудии; другие находят тот же луч Божий в мужественном и терпели-

³⁰ См. об этом в главе седьмой.

вом несении страданий³¹; иные созерцают мудрость Божию в природе и ее таинственно-прекрасной жизни³²; иные вступают с Богом в непосредственное общение в излиянии простой, одинокой, искренней молитвы... Ни один из этих путей не подлежит отвержению, каждый из них может и должен привести человека в священное средоточие веры, к Богу, Отцу всяческих. Евангелие объемлет все эти пути и всякие иные пути, говоря:

«возлюби Господа Бога твоего всем *сердцем* твоим, и всею *душою* твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею»; и затем: «возлюби ближнего твоего, как самого себя» (Мф. 22, 37; Мк. 12, 29–30; Лк. 10, 26–28).

Итак, не подлежит сомнению, что духовная любовь и духовный опыт даются не всем людям в одинаковой мере и в одинаковом виде. Они сами (и любовь, и опыт) суть дары благодати, и кому они даются «сами собой», как бы «от природы», тот не имеет заслуги. Однако возможно и необходимо беречь этот дар, растить его, открывать ему доступ во все внутренние пространства души и предоставлять ему водительство в жизни. И подобно этому возможно и необходимо передавать этот духовный свет другим людям, никогда не думая о том, что, может быть, есть на свете такие, которые навеки лишены благодати; ибо, если бы даже существовали на свете такие люди, то кто же из нас знает этих несчастных? А опыт свидетельствует о том, что огонь духа, проникая в сердце зачерствелого человека, способен зажечь его и притом именно потому, что под ста дурными слоями таинственно тлела Божия искра.

А раз живая и подлинная вера возникнет из духовной любви и укрепитя в духовном созерцании, то она непременно захватит последнюю глубину человеческого существа и проникнет из нее во все сферы личной жизни. Духовная вера как бы отверзает у человека новые очи или натягивает в его душе новые струны и заставляет их звучать; возникают новые, более благородные, утонченные потребности; он начинает видеть и постигать то, что остается скрытым от неверующих людей – *стихию священного в человеческих душах и в мире вещественной природы*. Само собой разумеется, что духовно верующий человек видит и все то, что умеет наблюдать неверующий; но наряду с этим и сверх этого, он видит в мире и в человеческой истории некий *высший смысл*, другие, высшие и могущественные законы, правящие миром: законы Провидения, Духа и Божественных целей, а также законы человеческой свободы, подвига, правоты и греха... В общем и целом – особый мир, таинственно скрытый в видимом мироздании, мир, в который духовно живой человек всю жизнь всматривается, как сквозь завесу, и к которому он прислушивается как бы издали.

Из этого внимания, из этого зренья и слуха и возникло все великое, созданное людьми в их истории.

Вот почему мы утверждаем, что из этой области текут благодатные творческие струи в человеческую жизнь и во всю человеческую культуру. В этом потоке, который изнутри проникает, облагораживает и освящает все человеческие дела и создания, – все рождается как бы заново: все получает священное значение, глубокий смысл, внутреннюю, неколеблящуюся опору, духовную верность и побеждающую силу. Именно к этому зовет нас ясновидящий Тютчев:

Приди, струей его эфирной
Омой страдальческую грудь
И жизни божески-всемирной

³¹ См. «Живые мощи» Тургенева.

³² См., напр., у Гете: «Неужели ты не видишь Бога? У каждого тихого родника, под каждым цветущим деревом я нахожу Его со всею теплотою Его любви». См. также особенно бессмертную книгу Фехнера: «Нанна, или жизнь растений».

Хотя на миг причастен будь!³³

Но если этот миг придет, то он, наверное, повторится и упрочится. А если он овладеет душой, то вся несостоятельность безбожного искусства, богоотрицающей науки, противодуховной политики и черствой, антисоциальной общественности – обнаружится воочию и покажется сущим мраком и крушением по сравнению с культурой, религиозно овеянной и освященной.

Итак, человек не может жить без веры. Но без веры в *Бога* жизнь человека становится бесплодной, пошлой и разрушительной – мнимой жизнью, ведущей к бесчисленным страданиям и всеобщему разложению.

Путь же к вере и к Богу именуется духовной любовью. И первое, что она может и должна дать, – есть *свобода*.

³³ Отрывок из стихотворения Ф.И. Тютчева «Весна» (*Примеч. ред.*).

Глава третья О свободе

Скажи им таинство свободы...
Хомяков³⁴

1

Внешняя свобода

Исследуя вопрос о вере, я пытался показать, что, веруя в Бога, человек создает свой реальный жизненный центр и строит, исходя из него, свою душу: благодаря этому, он сам становится живым духовным единством с единственным центром и неколеблющимся строением – он приобретает зрелый и законченный *духовный характер*. На этом пути он обретает священную и главную цель своей жизни, которую стоит жить, за которую стоит бороться и в борьбе за нее – отдать свою жизнь: эта главная цель его жизни именуется *делом Божиим на земле*, т. е. делом религиозно осмысленной духовной культуры.

Оказывается, что вера не есть просто некоторое «ощущение» или «чувство». Напротив, она есть некий целостный жизненный опыт, некое мирозерцание и система действий; она вовлекает в свой процесс и волю, и мысль, и слово, и дело – все сразу, всего человека целиком: ибо вера исходит из последней глубины человеческого существа и потому неизбежно захватывает всего человека. Только при этом условии вера становится *действенной, творческой* верой: укорененной, искренней, цельной и победной.

Но для того чтобы вера возникла, и разгорелась, и приняла такую силу и обличив – человек должен быть в своей вере *свободен*.

Что значит – «свободен»? Какая свобода имеется здесь в виду? Свобода *от чего и ради чего!*

Здесь имеется в виду прежде всего *внешняя свобода* человеческой личности. Не свобода делать все, что кому захочется, с тем чтобы другие люди не смели никому и ни в чем мешать; но *свобода веры, воззрений и убеждений, в которую другие люди не имели бы права вторгаться с насильственными предписаниями и запрещениями*; иными словами – свобода от недуховного и противодуховного *давления, от принуждения и запрета, от грубой силы, угрозы и преследования*. Ввиду того, что здесь дело идет об ограждении *извне* духовного опыта и веры, такую свободу можно обозначить как «внешнюю» или «отрицательную»; она ограждает интимный и глубокий процесс богоискания от насилия со стороны *других людей* и постольку ее можно обозначить и как «общественную»³⁵. . . Ее формула может быть выражена так: «не заставляй меня насильственно, не принуждай меня угрозами, не запрещай мне, не прельщай меня земными наградами и не отпугивай меня наказаниями; предоставь мне самому испытать Божественность, уверовать в Бога и свободно принять Его закон моим сердцем и моей волею...» Эта формула требует для человека «религиозной автономии» (букв, с греч. – «самосознания»³⁶, в отличие от «гетерономии» (с греч. «чужезакония»), т. е. предписания или запрещения, идущего от других людей).

³⁴ Строка из стихотворения А. С. Хомякова «России» (*Примеч. ред.*).

³⁵ Обычно ей усваивают название «свободы совести», что совсем не точно.

³⁶ Только по недоразумению можно противопоставлять этому «религиозному самозаконию» (автономии) «теономию» (богозаконие), ибо всякое «богозаконие» может состояться только автономно.

Не подлежит никакому сомнению, что человек в своем общественном воспитании и в государственной жизни безусловно нуждается в гетерономных, т. е. идущих извне предписаниях и запрещениях, причем эти предписания и запрещения должны быть часто поддержаны угрозой, а иногда подкреплены силой и принуждением³⁷. Пока люди не научатся самостоятельно преобразовать зарождающиеся в *их собственной* душе дурные влечения, пока они не научатся обессиливать *чужие* дурные намерения при помощи любви, ласкового взгляда и доброго слова, превращая чужую злобу в благотворную доброту (а когда это будет?., и будет ли?!.), до тех пор в этом порядке ничего не изменится. Однако, если бы люди и научились этому, гетерономные приказы и запреты не исчезли бы из жизни – ибо ни воспитание детей, ни создание прочных и больших общественных организаций, покоящихся на положительном праве (от научного общества до государства и международной организации включительно), не могут обходиться без таких гетерономных правил.

Но духовная любовь, вера в Бога и вообще личные убеждения не создаются такими приказами и запретами. Всякое чужое принуждение – в чем бы оно ни выражалось и какие бы формы оно ни принимало – подходит к человеку *«извне»* и надвигается на него в известном смысле *«сверху»*, т. е. в порядке обязывающего авторитета; поэтому оно оказывается неспособным *захватить последнюю глубину сердца, пробудить ее и обратить к Богу*. На такое давление, приходящее *«извне»* и *«сверху»*, внутреннее ядро человека отвечает обычно сопротивлением и возмущением или, еще хуже, – ожесточением, упрямством и ненавистью. Тогда подавленный человек, вместо того чтобы пользоваться своею свободой из глубины и по существу, вместо того чтобы строить по-своему свой духовный опыт, начинает взывать к формальной свободе, ссылается на свое неотъемлемое право и вступает в борьбу за него; и если бы даже налагаемые на него приказы и запреты содержали самую единую и единственную религиозную истину – то и в этом случае они не только не открыли бы его душу для приятия ее, но замкнули бы его душу в слепоте и глухоте...

Запрет и принуждение, угроза и страх могут вынудить у человека только лицемерную *«любовь»* и лицемерную *«веру»*; а эти вынужденные, показные, неискренние проявления скрывают за собою или прямое лукавство, или же испуганное мертвеющее сердце; и все усилия и нажимы власти достигают только того, что истинная любовь и истинная вера гибнут или совсем не возникают в человеческой душе: в ней все становится искусственным, натянутым, раздвоенным, фальшивым и потому – бессильным и, в сущности говоря, *кошунственным*; ибо священное требует искренности, и Божественное не терпит расчетливого притворства или лицемерия...

В этом ничего не меняется и в том случае, если человек, поставленный под угрозу и принуждение, принимает внутреннее решение – принудить самого себя усилием воли к *«любви»* и *«вере»*, т. е. заставить себя насильственно разлюбить любимое и полюбить нелюбимое или разувериться в том, во что он верит, и поверить в то, во что ему не верится. Это не удастся ему.

Ибо на самом деле в органически здоровой душе – воля не может породить любовь и веру³⁸; напротив, она сама получает свое горение и освещение из священного огня *невынужденной любви и свободной веры*.

Несомненно, воля может жить, господствовать и вести человека и *без любви*, но тогда она оказывается холодной и сухой, формальной и безжалостной. Воля может обходиться и *без веры*, но тогда она оказывается оторванной от духа и святости, беспринципной и безнравственной, чем-то вроде испорченного автомата или зверя, вырвавшегося из клетки. Можно даже решиться на такой опыт: не любя, притвориться любящим и действовать из притвор-

³⁷ См. подробное развитие и обоснование этого взгляда в моей книге «О сопротивлении злу силою».

³⁸ Католическое воззрение, лежащее в основе всей средневековой инквизиции и крестовых походов против еретиков.

ной любви и, не веруя, симулировать веру и подражать во всем верующим, – все это в тщетной надежде, что, может быть, когда-нибудь потом, вследствие такого притворства и таких неискренних усилий, любовь и вера присоединятся к этим упражнениям; такие люди начинают с вынужденных внешних поступков и надеются привлечь этим в душу священный огонь. Иногда такие неискренние упражнения приводят кряду общественно-полезных действий, особенно в сфере так называемой «общественной благотворительности». Но ни одно из этих действий не входит полноценным звеном в живую цепь Божьего дела на земле... И если бы впоследствии священный огонь любви и веры вспыхнули однажды над такими лицемерными и мертвыми делами, то оказалось бы, что человек любит лишь с того мига, когда его сердце загорелось изнутри, и что вера его началась лишь с того момента, когда глубина его души была искренно захвачена и свободно обратилась к Богу. Все же прочее, до этого, оставалось *системой лицемерия*.

Никогда еще ни одному человеку не удалось и никогда ни одному не удастся полюбить на основании приказа или искоренить в себе веру на основании запрета. И если любовь возникает *после* приказа, то она возникает *не по приказу, а вопреки* ему и *независимо* от него: т. е. любовь приходит сама, а приказу не удастся помешать ей и сделать ее невозможной. И если вера исчезает *после* запрета, то она исчезает *не на основании* его, но на основании других душевных переживаний, а может быть, и вследствие того, что она была *мнимая* и что на самом деле ее вовсе не было.

Божественный огонь в человеке, который в нем любит, верует и творит, не может быть ни произвольно вынужден, ни произвольно погашен; все, чего здесь можно достигнуть, – и то лишь вследствие человеческой слабости и робости – это временного умалчивания о нем, воздержания от внешних высказываний и проявлений (т. е. ухода в душевную катакомбу).

Есть закон, который надо продумать и усвоить раз и навсегда: *внешнее давление*, со всеми его угрозами, насилиями и муками, и *духовный огонь*, во всей его непроизвольности и священной властности, – чужеродны друг другу («гетерогенны»); они суть проявления различных сил и сфер, причем высшая сила (дух) – властна над низшей, она может вызвать ее к жизни и остановить ее изнутри; но низшая сфера не властна над высшей: внешней силе подчинено только внешнее. Вот почему прав Шопенгауэр, когда он говорит: «Вера подобна любви, ее нельзя вынудить. И потому это рискованная затея – пытаться ввести ее при помощи государственных мероприятий...» И прав русский поэт, сказавший о духовном творчестве:

Над вольной мыслью Богу неуютны
Насилие и гнет:
Она, в душе рожденная свободно,
В оковах не умрет!³⁹

Без этой свободы человеческая жизнь не имеет ни смысла, ни достоинства, и это самое главное. Смысл в том, чтобы *любить, творить и молиться*. И вот, без свободы нельзя ни молиться, ни творить, ни любить.

1. *Веровать* и молиться можно только самому, по доброй воле, искренно, из глубины. Нельзя молиться по приказу и не молиться по запрету. Молитва по приказу не нужна ни Богу, ни себе, ни людям; и тот, кто запрещает молиться, делает вредное противорелигиозное дело. Отсюда – свобода верования, исповедания и любви.

2. *Любить* можно только самому, искренно, по доброй воле, из глубины. Нельзя любить Бога, родину и людей по приказу и перестать любить в силу запрета. Вынужденное доказа-

³⁹ Граф А. К. Толстой. Иоанн Дамаскин. VII.

тельство преданности, расчетливый казенный патриотизм есть притворство и обман, такое притворство ни к чему хорошему не ведет, такой обман никому не нужен. Любовь не загорается по повелению и не угасает по предписанию, она не вынудима, и притом всякая любовь, и ко всему: и к Богу, и к людям, и к делу, и к природе, и к идеям. Отсюда – свобода духовной любви и убеждений.

3. *Творить* можно только по вдохновению, из глубины, свободно. Нельзя творить по приказу и не творить по запрету. Вспомним жалобы Иоанна Дамаскина, которому старец запретил вдохновенное пение:

Перед моим тревожным духом
Теснятся образы толпой,
И в тишине, над чутким ухом,
Дрожит созвучий мерный строй;
И я, не смея святотатно
Их вызвать в жизнь из царства тьмы,
В хаоса ночь гоню обратно
Мои непетые псалмы...

Живым палимое огнем,
Мяется сердце непокорно...

И казнью стал мне праздный дар,
Всегда готовый к пробуждению...⁴⁰

И так во всем. Как предписать законы вдохновенья⁴¹? Как подавить ищущую мысль разума? Можно ли вынудить живой и полноценный, нравственно-творческий поступок? Что стоит жизнь без творчества, творчество без вдохновения, вдохновение без свободы? Отсюда – *свобода духовного творчества*.

Непризнающий *этой* свободы и *такой* свободы как *основы жизни и как духовной необходимости* – приравнивает человека животному, умаляет человеческое достоинство. Он заставляет человека *лгать* – Богу, себе и людям. Он искажает естество человека, превращает людей в чернь и, создавая инквизицию или тиранию, готовит себе самому или своему народу печальное будущее.

Свобода есть воздух, которым дышит вера и молитва. Свобода есть способ жизни, присутствующий любви. Отвергать это может лишь тот, кто никогда не веровал, не молился, не любил и не творил; но именно поэтому вся жизнь его была мраком, и проповедуемое им искоренение свободы служит не Богу, а бесу. Не потому ли таких людей называют «мракобесами»?

Однако не означает ли это, что человеку подобает *формальная и безмерная свобода!* Не есть ли это свобода творческого *разнуздания*, свобода разврата в любви, свобода религиозных извращений и бесчинств?

⁴⁰ Граф А.К. Толстой. Иоанн Дамаскин. VI. Ср. V и VII. (Отрывки из VI главы «Иоанна Дамаскина» приведены в другом порядке. – *Примеч. ред.*).

⁴¹ См. у Пушкина «Родословная моего героя», «Зачем крутится ветер в овраге...» (А.С. Пушкин «Езерский», строфа XIII. – *Примеч. ред.*). См. также «Поэту». Сонет.

2

Внутреннее освобождение

Понимать «внешнюю свободу» человеческого духа как формальную и безмерную было бы глубокой и опасной ошибкой: ибо внешняя свобода («не заставляй, не прельщай, не запрещай, не запугивай»...) дается человеку именно для *внутреннего самоосвобождения*; именно от него она получает свое истинное значение и свой глубокий смысл.

Что же есть «внутренняя» свобода?

Если внешняя свобода устраняет насильственное вмешательство *других людей* в духовную жизнь человека, то внутренняя свобода обращает свои требования не к другим людям, а к самому – вот уже внешне нестесненному – человеку. Свобода по самому существу своему есть именно *духовная свобода*, т. е. свобода духа, а не тела и не души. Это необходимо однажды навсегда глубоко продумать и прочувствовать с тем, чтобы впредь не ошибаться самому и не поддаваться на чужие соблазны.

Тело человека *несвободно*. Оно находится в пространстве и во времени, среди множества других тел и вещей – то огромных, как планеты, то больших, как горы, то небольших, как животные и люди, то мельчайших, как пылинки, бактерии и т. д. Все это делает тело человека несвободным в движении, смертным и распадающимся по смерти и всегда подчиненным всем законам и причинам вещественной природы. Эти законы человек может комбинировать или себе на пользу, или себе во вред, на погибель; но создавать и нарушать их он не может. Он может не знать о них или забыть об их действии, но освободиться от них он не может никогда.

Несвободна и *душа* человека. Прежде всего, она связана таинственным образом с телом и обусловлена его здоровой жизнью. Далее, она связана законами времени и последовательности (длительность жизни и отдельных переживаний, наследственность, память и т. д.). Наконец, она связана своим внутренним устройством, которого она сама не создает и нарушать не может: законами сознания и бессознательного, силою инстинкта и влечений, законами мышления, воображения, чувства и воли. Душа имеет свою природу, природа эта имеет свои законы, душа не творит сама этих законов, а подчиняется им и не может изменять их по произволению.

Но духу человека *доступна* свобода, ему и *подобает* свобода. *Ибо дух есть сила самоопределения к лучшему*. Он имеет дар – вывести себя внутренне из любого жизненного содержания, противопоставить его себе, оценить его, избрать его или отвергнуть, включить его в свою жизнь или извергнуть его из нее. Дух есть сила, которая имеет дар *усилить себя и преодолеть* в себе то, что отвергается; дух имеет силу и власть *создавать формы и законы своего бытия*, творить себя и способы своей жизни. Ему присуща способность внутренне *освободить* себя, ему доступно *самоусиление и самоопределение к благу*. Освободить себя значит, прежде всего, собрать свою силу, чтобы быть сильнее любого влечения своего, любой прихоти, любого желания, любого соблазна, любого греха. Это есть извлечение себя из потока обыденной пошлости – противопоставление ее себе и себя ей, усиление себя до победы над ней.

Таков *отрицательный* этап самоосвобождения. За ним следует *положительный* этап: он состоит в добровольном и любовном заполнении себя *лучшими, избранными и любимыми* жизненными содержаниями...

Этот процесс добывания своей внутренней свободы может поставить человека в конфликт с потребностями его *тела* – ибо дух будет искать и найдет нужную ему (духу!) и верную для него (духа!) меру еды, меру питья, меру движения, меру наслаждения, меру мускульного труда; при этом он будет видеть в теле свое орудие – то непокорное, то покор-

ное, и будет мудро комбинировать законы телесной природы в свою пользу (т. е. в пользу духа). Далее, возможны конфликты с собственными *душевными* влечениями – ибо дух не может помириться с теми влечениями души, которые ведут человека по пути злобы, порочности, лени, безудержных наслаждений, необузданных порывов, словом, по пути унижения и разложения.

Найти в себе силу для такой борьбы – значит заложить основу своего *духовного характера*. Утвердиться в этой силе и внутренне освободить себя (сначала отрицательно, потом положительно) – значит *воспитать в себе духовный характер*. Это значит добыть себе «самостояние» или *внутреннюю свободу*; причем имеется в виду *не просто бытовая самостоятельность человека, а его духовное самоопределение*; и не только *внешняя автономия* человеческого духа, но и *внутренняя власть* его над телом и душою; и не только это *самообладание* человека (оно может остаться самостоятельной «выдержкой»), но *заполненность* душевных пространств *свободно и верно выбранными божественными содержаниями*, которые приобретаются духовной любовью и религиозною верою.

Освободить себя не значит стать независимым от других людей, но значит стать *господином своих страстей*. Господин своих страстей не тот, кто их успешно обуздает, так что они всю жизнь бушуют в нем, а он занят тем, чтобы не дать им хода, но тот, кто их духовно *облагородил и преобразовал*. Свобода от страстей состоит не в том, что человек задушил их в себе, а сам предался бесстрастному равнодушию (так думали стоики), но в том, что страсти человека сами, добровольно и целостно служат духу и несут его к цели, подобно «серому волку», преданно везущему на себе «Ивана Царевича» в тридешатое царство.

Внутренняя свобода отнюдь не есть отрицание закона и авторитета, т. е. беззаконие и сомнение. Нет, внутренняя свобода есть способность духа самостоятельно увидеть *верный закон*, самостоятельно признать его авторитетную силу и самостоятельно осуществить его в жизни. Свобода не есть произвол, ибо произвол есть всегда потакание прихотям души и похотям тела. У свободного человека не произвол ведет душу, а свобода царит над произволом, ибо такой человек *свободен и от произвола*; он преобразил его в духовное, предметно обоснованное *произволение*.

Вот что значит свобода, *внутренняя свобода*. И вот почему я сказал, что свобода пододбает духу и должна быть представлена *именно ему*. Это значит также, что *внешняя свобода* служит внутренне, необходима для нее и дается для нее. *Внешняя свобода есть естественное и необходимое условие для водворения и упрочения внутренней*. Здоровая религиозная жизнь нуждается в обеих свободах: человек пользуется тем, что его никто не «заставляет» и что ему никто не «запрещает», для того чтобы открыть себе доступ к духовному опыту, пробудить в себе духовное видение, внутренне освободить себя, воспитать в себе духовный характер и определить себя к *верным, чистым, нравственным, прекрасным, божественным путям жизни*. . . Из внешней свободы, этой необходимой основы религиозной веры и жизни, – должна возникнуть *духовная самостоятельность и самостоятельность* человеческой личности в ее отношении к Богу и затем к людям и природе. Тот, кто требует себе *духовной свободы*, не должен и не смеет понимать ее формально, напр., так: «не заставляй, не запрещай! дай мне свободу – *делать все, что мне заблагорассудится*, хотя бы выколоть себе духовные очи, пасть и погибнуть!» Это означало бы: *дай мне внешнюю свободу духа, чтобы я погубил и исказил свою внутреннюю свободу*. Или еще короче: *дай мне свободу духовной гибели*. Детское, ребяческое требование! Именно так ребенок требует себе острое орудие, чтобы злоупотребить им. Я говорю *орудие*: ибо внешняя свобода духа есть именно орудие для полного и истинного внутреннего самоосвобождения. Я говорю *острое орудие*: ибо *духовная автономия* при злоупотреблении может стать источником бесконечного вреда и губительных бедствий.

Люди, требующие себе *внешней* духовной свободы и не постигающие ее внутреннего смысла и назначения, поистине заслуживали бы того, чтобы им дали эту формальную свободу и изолировали их в пространстве и во времени, чтобы они создали где-нибудь на отдаленном острове общество формально разнузданных и духовно погибающих людей на вечное поучение потомству...

Все эти соображения уже намечают известные границы духовной и религиозной свободы; при этом я имею в виду те положительные границы, которые не стесняют и не ограничивают свободу духа, но помогают ее личному оформлению и здоровому расширению. В стеснениях и ограничениях, вообще говоря, нуждается *не свобода духа, а злоупотребляющая свободой бездуховность и противодуховность...*

Помочь человеку в его внутреннем освобождении и в установлении его духовной самостоятельности может, прежде всего, духовное общение с другими людьми.

Есть люди, у которых дух, предаваясь религиозному созерцанию и молитве, нуждается в *одиночестве* и поэтому удаляется от других людей в уединение. Так обстоит далеко не у всех, и под религиозной самостоятельностью человека следует разуметь не это. Человек может быть и должен быть религиозно самостоятельным везде — и в браке, и в семье, и в приходе, и в церкви. Потому что духовная свобода и религиозная самостоятельность отнюдь не исключают ни общения, ни единения людей. Напротив, *истинное духовное единение возможно именно там, где каждый человек стоит духовно и религиозно на собственных ногах, т. е. носит в себе самом живые источники духовного опыта и религиозной веры.* Там, где этого нет, там единение не будет на настоящей высоте; а это значит, что там необходимо стремиться к этой личной самостоятельности и внутренней свободе людей.

Вот почему духовная свобода и религиозная самостоятельность людей отнюдь не исключают *воспитания и преподавания.* Напротив, всякий, не доросший до этой свободы, должен быть *воспитан* к ней; и всякий, не имеющий религиозной самостоятельности, поступит правильно, если начнет учиться ей у тех, кто ее уже достиг. Было бы величайшей ошибкой, если бы кто-нибудь, ссылаясь на свободу и автономию духа, потребовал, напр., отмены преподавания Закона Божия для детей и Богословия для взрослых. Ведь самостоятельности надо еще учиться!.. Люди держатся на ногах, сами ходят самостоятельно, однако сначала *их учат* ходить... И кто захотел бы не учить своих детей ходить, а предоставил им свободу ползанья на четвереньках? И точно так же люди читают, считают и рассуждают свободно и самостоятельно, однако сначала *их учат* этому — в порядке обязательном и авторитетном... Кто согласился бы оставить своих детей малограмотными дикарями — во имя духовной автономии? И вот, подобно этому, человек, владеющий духовным опытом и религиозным видением, призван и обязан преподавать другим свою способность и власть. Свободу духа нельзя истолковывать как *свободу от духа.* Свобода богосозерцания не есть религиозная слепота. И если внешняя свобода духа («не заставляй, не запрещай»...) отрицает что-нибудь, то лишь насилие, принуждение, угрозу и подкуп как средство влиять на религиозную веру людей; но она отнюдь не отрицает ни духовного воспитания, ни религиозного преподавания.

Отрицательная свобода есть лишь путь, ведущий к положительной свободе, средство, ведущее к цели. Можно ли придавать средству такое значение, чтобы настаивать на нем и в случае его негодности? Кто согласится принимать неподходящее, вредное лекарство только из уважения к его «лекарственности»? Если человек превращает свободу духа — в свободу *от* духа, то она будет у него отнята... Так было в человеческой истории много раз, так будет и впредь. Если внешняя свобода духа развращает человека и делает его разнузданным, то самое разнуздание его вызовет к жизни такой строй и такую власть, которые урежут или погасят эту свободу. К этому не стоит даже призывать; ибо это *исторически неизбежно.*

Внутреннее око человека призвано к тому, чтобы свободно, добровольно, без принуждения обратиться к духу и ко всему Божественному на земле и в небе; и высший смысл

всех правовых установлений и государственных законов состоит, прежде всего, в том, чтобы обеспечить людям эту возможность. Но пользование этой внешней свободой для *совращения* себя и других людей, и особенно малолетних, в бездуховное и противодуховное состояние – не может быть допущено. Свобода не есть свобода духовного растрепания. Глазному врачу представляется свобода лечить глаза пациентов по своему крайнему разумению и искусству, но предоставляется ли ему свобода выкалывать глаза своим пациентам? Подобно этому всякая соблазнительная и разлагающая пропаганда безбожия и противодуховности есть не что иное, как систематическая работа над выкалыванием духовных очей у людей наивных и доверчивых.

Акт духовного опыта, духовной любви и веры своеобразно слагается и вынашивается народами на протяжении столетий. Он созревает преимущественно в бессознательном порядке и притом медленно, передаваясь в процессе воспитания и преемства от одного поколения другому⁴². В этом процессе каждое новое поколение получает сначала в детстве *воспитательный заряд внутренней свободы*, а потом, к зрелому возрасту, – все увеличивающуюся от поколения к поколению долю *внешней свободы*, на основе которой оно должно доверить свое воспитание – *самовоспитанием*. Все это совершалось и совершается совсем не для того, чтобы затмевать священные очи духа злостным издевательством над духом и кощунственным поношением святых. При этом я имею в виду отнюдь не *религиозное сомнение*, честно и глубоко прочувствованное... Макс Мюллер, исследователь верующий и чуткий, глубоко прав, когда говорит: «Искреннее сомнение есть глубочайший источник честной веры. Найти может лишь тот, кто утратил...» Я имею в виду скептицизм предубежденных, злобствующих безбожников, которые стараются систематически привить взрослым и особенно детям слепое отрицание, вызвать в них безнадежное, непоправимое духовное опустошение: это есть всеразлагающая доктрина смерти, духовное оскотление, которое совершается над наивными младенцами (ибо и взрослые люди часто остаются духовными младенцами), завлекаемыми при помощи хитрости и лжи; это есть преступление, подобное тому, которое описано Шекспиром в «Гамлете»: движимый завистью и честолюбием один брат вливает в ухо другому брату (Королю) во время сна смертельный яд; ибо, поистине, дети, а нередко и взрослые, подобны духовно спящим, а безбожная пропаганда разливает разрушительный и смертельный яд. Государство обеспечивает людям права свободы, но ни одному человеку не может быть предоставлено *право на преступление*. Истолковывать свободу как право на злодейство могут только или совсем наивные люди, или преступники.

⁴² См. главу шестую и седьмую.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.